

Часть II. Пажеский корпус

I. Поступление в корпус. Экзамены.

Полковник Жирардот. Порядок и нравы корпуса

Заветное желание моего отца наконец осуществилось. Открылась вакансия в Пажеском корпусе, которую я мог занять, прежде чем достиг предельного возраста, старше которого уже не принимают. Мачеха меня отвезла в Петербург, я поступил в корпус. В этом привилегированном учебном заведении, соединявшем характер военной школы на особенных правах и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора, воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью дети придворной знати. После четырех или пятилетнего пребывания в корпусе окончившие курс выпускались офицерами в любой – по выбору – гвардейский или армейский полк – безразлично, имелась ли вакансия или нет. Кроме того, первые шестнадцать учеников старшего класса назначались каждый год камер-пажами к различным членам императорской фамилии: к царю, царице, великим княгиням и великим князьям, что, конечно, считалось большой честью. К тому же молодые люди, которым выпадала подобная честь, становились известны при дворе и имели возможность попасть потом в адъютанты к императору или к одному из великих князей. Таким образом, они могли сделать блестящую карьеру. Поэтому папеньки и маменьки, имевшие связи при дворе, изо всех сил старались, чтобы их дети попали в Пажеский корпус, даже хотя бы в ущерб другим кандидатам, которые тогда никак не могли дожидаться вакансии. Теперь, когда я попал наконец в привилегированное училище, отец мог дать простор своим честолюбивым мечтам.

Корпус делился на пять классов, из которых старший назывался первым, а младший – пятым, и я держал экзамен в четвертый класс. Но так как на поверочном испытании обнаружилось мое недостаточное знакомство с десятичными дробями, то я вместо четвертого попал в пятый класс, тем более что в четвертом было уже более сорока воспитанников, тогда как для младшего едва набрали двадцать.

Такое решение крайне огорчило меня. И без этого я очень неохотно поступал в военное училище, а тут еще предстояло пробыть в нем пять лет вместо четырех. Что я стану делать в пятом классе, когда уже знаю все, чему там учат? Со слезами на глазах сказал я это инспектору, но он ответил мне шутливо: «А знаете слова Цезаря: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме?» На что я с жаром возразил, что предпочел бы быть последним, лишь бы я мог окончить военное училище возможно скорее.

– Быть может, со временем вы полюбите корпус, – заметил инспектор, полковник Павел Петрович Винклер, замечательный для того времени человек. С тех пор он стал очень хорошо относиться ко мне.

Преподавателю арифметики артиллерийскому офицеру Чигареву, также пытавшемуся утешить меня, я поклялся, что никогда не раскрою учебника его предмета. «И, несмотря на это, вы мне будете ставить двенадцать», – прибавил я. Слово я сдержал. Ученик, как видно, и тогда уже был с душком.

А между тем теперь я могу благодарить за то, что меня записали в младший класс. Так как первый год мне приходилось лишь повторять уже известное, я привык выучивать уроки в классе по объяснениям учителя. Таким образом, я мог после классов читать и писать сколько душе угодно. Притом большую половину первой зимы я провел в госпитале. Как все дети, родившиеся не в Петербурге, я отдал дань столице «хладных финских берегов»: перенес несколько припадков местной холеры и наконец надолго слег от тифа. Первые годы я даже не готовился к экзаменам, а во время, назначенное для подготовки, обыкновенно читал нескольким товарищам вслух Островского или Шекспира. А затем, когда я перешел в старшие, специальные классы, я был хорошо подготовлен к слушанию различных предметов, читавшихся там.

Когда я поступил в Пажеский корпус, во внутренней его жизни происходило полное изменение. Вся Россия пробудилась тогда от глубокого сна и освобождалась от тяжелого кошмара николаевщины. Это пробуждение отразилось и на нашем корпусе. Признаться, я не знаю, что стало бы со мною, если бы поступил на год или на два раньше. Или моя воля была бы окончательно сломлена, или меня бы исключили – кто знает, с какими последствиями. К счастью для меня, в 1857 году переходный период был уже в полном развитии.

Директором корпуса был превосходный старик генерал Желтухин, но он только номинально был главою корпуса. Действительным начальником училища был «полковник» – француз на русской службе полковник Жирардот. Говорили, что он принадлежал к ордену иезуитов, и я думаю, что так оно и было. Его тактика во всяком случае была основана на учении Лойолы, а метод воспитания заимствован из французских иезуитских коллегий.

Нужно представить себе маленького, очень худощавого человека со впалой грудью, с черными, пронизывающими, бегающими глазами, с коротко подстриженными усами, делавшими его похожим на кота, человека очень сдержанного и твердого, не одаренного особенными умственными способностями, но замечательно хитрого; деспота по натуре, способного ненавидеть – и ненавидеть сильно – мальчика, не поддающегося всецело его влиянию, и проявлять эту ненависть не бессмысленными придирками, но беспрестанно, всем своим поведением, жестом, улыбкой, восклицанием. Он не ходил, а скорее, скользил, а пытливые взгляды, которые он бросал кругом, не поворачивая головы, еще больше довершали сходство с котом. Печать холода и сухости лежала на губах его, даже когда он пытался быть благодушным. Выражение становилось еще более резким, когда рот Жирардота искривлялся улыбкой неудовольствия или презрения. И вместе с тем в нем ничего не было начальнического. При первом взгляде можно было подумать, что снисходительный отец говорит с детьми как с взрослыми людьми. А между тем немедленно

чувствовалось, что он желал всех и все подчинить своей воле. Горе тому мальчику, который не чувствовал себя счастливым или несчастливым в соответствии с большим или меньшим расположением, которое оказывал ему полковник!

Слово «полковник» было постоянно у всех на устах. Все остальные офицеры имели клички; но никто не дерзал дать кличку Жирардоту. Своего рода таинственность окружала его, как будто он был всеведущ и вездесущ. И в самом деле, он проводил весь день и большую часть вечера в корпусе. Когда мы сидели в классах, полковник бродил всюду, осматривал наши ящики, которые отпирал собственными ключами. По ночам же он до позднего часа отмечал в книжечках (их у него была целая библиотечка) особыми значками, разноцветными чернилами и в разных графах проступки и отличия каждого из нас.

Игра, шутки и беседы прекращались, едва только мы завидим, как он, медленно покачиваясь взад и вперед, подвигается по нашим громадным залам об руку с одним из своих любимцев. Одному он улыбнется, остро посмотрит в глаза другому, скользнет безразличным взглядом по третьему и слегка искривит губы, проходя мимо четвертого. И по этим взглядам все знали, что Жирардот любит первого, равнодушен ко второму, намеренно не замечает третьего и ненавидит четвертого. Ненависть эта была достаточной, чтобы нагнать ужас на большинство его жертв, тем более что никто не знал ее причины. Впечатлительных мальчиков приводило в отчаяние как это немое, неукоснительно проявляемое отвращение, так и эти подозрительные взгляды. В других враждебное отношение Жирардота вызывало полное уничтожение воли, как показал это в автобиографическом романе «Болезни воли» Федор Толстой, тоже воспитанник Жирардота.

Внутренняя жизнь корпуса под управлением Жирардота была жалка. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют. Они проходят своего рода искуc. «Старики» желают узнать, какая цена новичку. Не станет ли он фискалом? Есть ли в нем выдержка? Затем «старички» желают показать новичкам во всем блеске могущество существующего товарищества. Так дело обстоит в школах и в тюрьмах. Но под управлением Жирардота преследования принимали более острый характер, и производились они не товарищами-одноклассниками, а воспитанниками старшего класса – камер-пажами, то есть унтер-офицерами, которых Жирардот поставил в совершенно исключительное, привилегированное положение. Система полковника заключалась в том, что он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу, он притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают; зато через посредство камер-пажей он поддерживал строгую дисциплину. Во время Николая ответить на удар камер-пажа, если бы факт дошел до сведения начальства, значило бы угодить в кантонисты. Если же мальчик каким-нибудь образом не подчинялся капризу камер-пажа, то это вело к тому, что 20 воспитанников старшей класса, вооружившись тяжелыми дубовыми линейками жестоко избивали – с молчаливого разрешения Жирардота – ослушника, проявившего дух непокорства.

В силу этого камер-пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие – вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. «Цирк» обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад.

Нравственные понятия, господствовавшие в то время, и разговоры, которые велись в корпусе по поводу «цирка», таковы, что, чем меньше о них говорить, тем лучше.

Полковник знал про все это. Он организовал замечательную сеть шпионства, и ничто не могло укрыться от него. Но система у Жирардота была закрывать глаза на все проделки старшего класса.

В корпусе повеяло, однако, новой жизнью, и всего за несколько месяцев до моего поступления произошла революция. В том году третий класс подобрался особенный. Многие серьезно учились и читали, так что некоторые из них стали впоследствии известными людьми. Мое знакомство с одним из них – назову его фон Шауф – произошло, я помню, когда он был занят чтением «Критики чистого разума» Канта. Притом в третьем же классе находились и самые большие силачи корпуса, как, например, замечательный силач Коштов, большой друг фон Шауфа. Третий класс не так послушно, как его предшественники, подчинялся игу камер-пажей. Последствием одного происшествия была большая драка между первым и третьим классами. Камер-пажи были жестоко побиты. Жирардот замолчал происшествие, но авторитет первого класса был подорван. Хлысты остались, но их больше никогда не пускали в ход. Что же касается «цирка» и других игрищ, то они перешли в область преданий.

Таким образом, многое было выиграно, но самый младший класс, состоявший из очень молодых мальчиков, только что поступивших в корпус, должен был еще подчиняться мелким капризам камер-пажей. У нас был прекрасный старый сад, но пятиклассники мало им пользовались. Как только спускались в сад, они должны были вертеть карусель, в которую садились камер-пажи, или же им приказывали подавать старшим шары при игре в кегли. Дня через два после моего поступления, видя, как обстоят дела в саду, я не пошел туда, а остался наверху. Я читал, когда вошел рыжий, веснушчатый камер-паж Васильчиков и приказал мне немедленно отправиться в сад вертеть карусель.

– Я не пойду. Не видите разве: я читаю, – ответил я.

Гнев искривил и без того некрасивое лицо камер-пажа. Он готов был кинуться на меня. Я стал в оборонительную позицию. Он пробовал бить меня по лицу фуражкой. Я отражал удары, как умел. Тогда он швырнул фуражку на пол.

– Поднимите!

– Сами поднимите!

Подобный факт неподчинения был неслыханной дерзостью в корпусе. Не знаю, почему он не избил меня на месте. Он был старше и сильнее меня.

На другой день и на следующий я получал подобные же приказы, но не исполнял их. Тогда начался ряд систематических мелких преследований, которые способны довести мальчика до отчаяния. К счастью, я всегда был в веселом расположении духа и отвечал шутками или вовсе не обращал внимания.

К тому же вскоре все кончилось. Полили дожди, и мы большую часть нашего времени проводили в четырех стенах. Но тут случилась новая история. В саду первый класс курил довольно свободно, но внутри здания курильной комнатой была «башня». Она содержалась очень чисто, и камин топился весь день.

Камер-пажи сильно наказывали всякого мальчика, если ловили его с папиросой, но сами постоянно сидели у огня, курили и болтали. Любимым их временем для курения было после десяти часов вечера, когда все остальные уже ложились спать. Заседание в «башне» продолжалось до половины двенадцатого, а чтобы охранить себя от неожиданного посещения Жирардота, они заставляли нас дежурить. Пятиклассников поднимали поочередно, парами, с постелей и заставляли их бродить по лестнице до половины двенадцатого, чтобы поднять тревогу в случае приближения полковника.

Мы решили покончить с этими ночными дежурствами. Долго продолжались совещания; обратились за советом, как поступить, к старшим классам. Их решение наконец было получено: «Откажитесь стоять на часах; если же камер-пажи начнут бить вас, что, по всей вероятности, будет, соберитесь возможно большей толпой и призовите Жирардота. Он, конечно, знает все, но тогда вынужден будет прекратить дежурства». Вопрос о том, не будет ли это «фискальством», был решен отрицательно знатоками в делах чести: ведь камер-пажи не держались с нами как с товарищами.

Черед стоять на страже выпал в эту ночь на некоего «старичка», Шаховского, и на крайне робкого новичка Севастьянова, говорившего даже тоненьким, как у девочки, голосом. Вначале позвали Шаховского; тот отказался, и его оставили в покое. Затем два камер-пажа пришли к Севастьянову, который лежал в постели; так как и он отказался, то его принялись жестоко стегать ременными подтяжками. Шаховской тем временем разбудил несколько товарищей, которые спали поближе, и все вместе побежали к Жирардоту.

Я тоже лежал в постели, когда два камер-пажа подошли ко мне и приказали мне стать на часы. Я отказался. Тогда они схватили две пары подтяжек (мы всегда складывали наше платье в большом порядке на табурете, рядом с постелью, подтяжки сверху, а галстук накрест) и стали стегать меня ими. Я сидел в постели и отмахивался руками; мне уже досталось несколько горячих ударов, когда раздался окрик: «Первый класс к полковнику!» Свирепые бойцы разом присмирели и поспешно складывали в порядок мои вещи.

– Смотрите, ничего не говорите полковнику! – шептали они.

– Положите галстук как следует, в порядке, – шутил я, хотя спина и руки горели от ударов.

О чем Жирардот говорил с первым классом, мы не узнали, но на другой день, когда мы выстроились, чтобы спуститься в столовую, полковник обратился к нам с речью в минорном тоне. Он говорил, как прискорбно, что камер-пажи напали на мальчика, который был прав, когда отказался идти. И на кого напали? На новичка, на такого робкого мальчика, как Севастьянов! Все му корпусу стало противно от этой иезуитской речи!

Нечего, кажется, прибавлять, что ночным дежурствам положен был конец. Вместе с тем нанесен был окончательный удар системе «приставания к новичкам».

Это событие также нанесло удар авторитету Жирардота, который принял все это близко к сердцу. К нашему классу, а ко мне в особенности, он стал относиться очень неприязненно (история с каруселью была ему, конечно, передана) и проявлял это при всяком удобном случае.

В первую зиму я частенько лежал в госпитале и в декабре заболел тифом, причем во время болезни директор и доктор относились ко мне с истинно отеческой заботливостью. Затем после тифа у меня был ряд острых и мучительных гастрических воспалений. Жирардот во время своих ежедневных обходов, заставая меня часто в госпитале, стал говорить мне полушутливо по-французски: «Вот валяется в госпитале молодой человек, крепкий, как Новый Мост». Раз или два я отвечал шутками, но наконец меня возмутило зложелательство в этом беспрерывном повторении одного и того же.

– Как вы смеете говорить так! – крикнул я. – Я попрошу доктора, чтобы он запретил вам ходить в эту палату! – И так далее в том же тоне.

Жирардот отступил шага на два. Черные глаза его сверкнули; его тонкие губы еще больше поджались. Наконец он произнес: «Я оскорбил вас? Не так ли? Хорошо, в рекреационной зале у нас стоят две пушки. Хотите драться на дуэли?»

– Я не шучу, – продолжал я, – и говорю вам, что не хочу больше терпеть ваших намеков.

Полковник с тех пор не повторял более своей шутки, только окидывал меня еще более неприязненным взглядом, чем прежде.

Все говорили о вражде, питаемой Жирардотом ко мне, но я не обращал на это внимания; по всей вероятности, мой индифферентизм еще больше усиливал чувство неприязни полковника.

Целых полтора года он не давал мне погон, которые обыкновенно даются новичкам через месяц или два после поступления, после того как новичок получит некоторое понятие о фронтовой службе. Но я чувствовал себя очень счастливым и без этого украшения. Наконец, один офицер, лучший фронтовик в корпусе, вызвался обучить меня. Убедившись, что я как следует выделяю все штуки, он решился представить меня Жирардоту, но полковник отказал раз и два, так что офицер принял это за личное оскорбление. И когда раз директор спросил его, почему у меня нет погон, офицер ответил напрямик: «Мальчик все знает, только полковник не хочет». Немедленно после этого, по всей вероятности вследствие замечания директора, Жирардот еще раз проэкзаменовал меня, и я получил погоны в тот же день.

Вообще влияние полковника было уже сильно на ущербе. Изменялся весь характер корпуса. Целых двадцать лет Жирардот преследовал в училище свой идеал: чтобы пажики были тщательно причесаны и завиты, как, бывало, придворные Людовика XIV. Учились ли пажи чему-нибудь или нет, это его не занимало. Любимцами его состояли те, у кого в туалетных шкатулках было больше всевозможных щеточек для ногтей и флаконов с духами, чьи «собственные» мундиры (они надевались во время отпуска по воскресеньям) были лучше сшиты и кто умел делать наиболее изящный *salut oblique*[5]. Жирардот часто устраивал

репетиции придворных церемоний. С этой целью одного из пажей закутывали в красный бумажный постельный чехол, и он изображал императрицу во время *baisemain*[6]. Мальчики когда-то почти как священнодействие выполняли обряд прикладывания к руке мнимой императрицы и удалялись с изящным поклоном в сторону. Но теперь даже те, которые были очень изящны при дворе, на репетиции отбивали поклоны с такой медвежьей грацией, что общий хохот не прекращался, а Жирардот приходил в бешенство. Прежде пажики, которых завивали, чтобы повезти на выход во дворец, заботились о том, чтобы возможно дольше сохранить свои завитки после церемонии; теперь же, возвратившись из дворца, они бежали под кран, чтобы распрямить волосы. Над женственной наружностью смеялись. Попасть на выход, чтобы стоять там в виде декорации, считалось уже не милостью, а своего рода барщиной. Пажики, которых возили иногда во дворец, чтобы играть с маленькими великими князьями, как-то заметили, что один из последних при игре в жгуты скручивал потуже свой платок, чтобы больнее стегать им. Один из пажей сделал тогда то же самое и так отхлестал князька, что тот ударился в слезы. Жирардот был в ужасе, хотя воспитатель великого князя, старый севастопольский адмирал, даже похвалил пажика.

За одно все-таки следует добром помянуть Жирардота. Он очень заботился о нашем физическом воспитании. Гимнастику и фехтование он очень поощрял. Я ему обязан за то, что он приучал нас держаться прямо, грудь вперед. Как все читающие, я, конечно, имел склонность горбиться. Жирардот спокойно, проходя мимо стола, подходил сзади и выпрямлял мои плечи и не уставал делать это много раз подряд.

В корпусе, как и в других школах, проявилось новое серьезное стремление учиться. В прежние годы пажи были уверены, что так или иначе они получат необходимые отметки для выпуска в гвардию. Поэтому первые годы они ничего не делали; учиться чему-нибудь начинали лишь в последних двух классах. Теперь же и младшие классы учились очень хорошо. Моральная атмосфера тоже стала совершенно иной в сравнении с тем, что было несколько лет назад. Одна или две попытки воскресить былое закончились скандалами. Жирардот должен был подать в отставку. Ему разрешили, однако, остаться на старой холостой квартире в здании корпуса, и мы часто видели его потом, когда он, закутанный в шинель, проходил, погруженный в размышления – по всей вероятности, печальные; полковник не мог не осуждать новые веяния, которые быстро определялись в корпусе.

II. Отражение в Пажеском корпусе пробуждения России. Преподаватели

Вся Россия говорила тогда об образовании. После того как заключили мир в Париже и цензурные строгости несколько ослабели, стали с жаром обсуждать вопрос о воспитании. Любимыми темами для обсуждения в прессе, в кружках просвещенных людей и даже в великосветских гостиных стало невежество народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы преподавания и как помочь всему этому. Первые женские гимназии открылись в 1857 году. Программа и штат преподавателей не оставляли желать лучшего. Как по волшебству, выдвинулся целый ряд

учителей и учительниц, которые не только отдались всецело делу, но проявили также выдающиеся педагогические способности. Их труды заняли бы почетное место в западной литературе, если бы были известны за границей.

И на Пажеском корпусе тоже отразилось влияние оживления. За немногими исключениями, все три младших класса стремились учиться. Чтобы поощрить это желание, инспектор П. П. Винклер (образованный артиллерийский полковник, хороший математик и передовой человек) придумал очень удачный план. Он пригласил для младших классов вместо прежних посредственностей самых лучших преподавателей. Винклер был того мнения, что лучшие учителя всего лучше дадут начинающим учиться мальчикам первые понятия. Таким образом, для преподавания начальной алгебры в четвертом классе Винклер пригласил отличного математика и прирожденного педагога капитана Сухонина. Весь класс сразу пристрастился к математике. Между прочим скажу, что капитан преподавал и наследнику Николаю Александровичу и что наследник поэтому приезжал в Пажеский корпус раз в неделю, чтобы присутствовать на уроках алгебры капитана Сухонина. Императрица Мария Александровна была образованная женщина и думала, что, быть может, общение с прилежными мальчиками приохотит и ее сына к учению. Наследник сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но большей частью во время урока Николай Александрович рисовал (очень недурно) или же рассказывал шепотом соседям смешные истории. Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный как в учении, так еще больше в дружбе.

Для пятого класса инспектор пригласил двух замечательных людей. Раз он, сияющий, вошел к нам в класс и объявил, что нам выпало завидное счастье. Большой знаток классической и русской литературы профессор Классовский, говорил нам Винклер, согласился преподавать вам русскую грамматику и пройдет с вами из класса в класс все пять лет до самого выпуска. То же самое для немецкого языка сделает другой профессор университета, г-н Беккер, библиотекарь императорской публичной библиотеки. Винклер выразил уверенность, что мы будем сидеть тихо в классе, так как профессор Классовский чувствует себя больным в эту зиму. Случай иметь такого хорошего преподавателя слишком завиден, чтобы упустить его.

Винклер не ошибся. Мы очень гордились сознанием, что нам будут читать профессора из университета. Правда, в «Камчатке» держались того мнения, что «колбасника» следует сделать шелковым, но общественное мнение класса высказалось в пользу профессоров.

«Колбасник», однако, сразу завоевал наше уважение. В класс вошел высокий человек, с громадным лбом и добрыми, умными глазами, с искрой юмора в них, и совершенно правильным русским языком объявил нам, что намерен разделить класс на три группы. В первую войдут немцы, знающие язык, к которым он будет особенно требователен. Второй группе он станет читать грамматику, а впоследствии немецкую литературу по установленной программе. В третью же группу, прибавил профессор с милой улыбкой, войдет «Камчатка». «От нее я буду требовать только, чтобы каждый во время урока переписал из книги по четыре строки, которые я укажу. Когда перепишет свои четыре строчки, «Камчатка» вольна делать, что хочет, при одном условии – не мешать другим. Я же обещаю вам, что в пять лет вы научитесь немного немецкому языку и литературе. Ну, кто идет в группу немцев? Вы, Штакельберг? Вы, Ламсдорф? Быть может, кто-нибудь из русских

тоже желает? А кто в «камчатку»?». Пять или шесть из нас, не знавших ни звука по-немецки, поселились на отдаленном полуострове. Они добросовестно переписывали свои четыре строчки (в старших классах строчек двенадцать – двадцать), а Беккер так хорошо выбирал эти строчки и так внимательно относился к ученикам, что через пять лет «камчадалы» действительно имели некоторое представление о немецком языке и литературе.

Я присоединился к немцам. Брат Саша в своих письмах так убеждал меня учиться немецкому языку, на котором есть не только богатая литература, но существуют также переводы всякой книги, имеющей научное значение, что я сам уже засел за этот язык. Я переводил тогда и выучивал трудное – в смысле языка – поэтическое описание грозы. По совету профессора я выучил все спряжения, наречия и предлоги и стал переводить. Это – отличный метод для изучения языков. Беккер посоветовал мне, кроме того, подписаться на дешевый еженедельный иллюстрированный журнал «Gartenlaube». Картинки и коротенькие рассказы приохочивали к чтению.

К концу зимы я попросил Беккера дать мне «Фауста». Я уже читал его в русском переводе; прочитал я также чудную тургеневскую повесть «Фауст» и теперь жаждал узнать великое произведение в подлиннике.

– Вы ничего не поймете в нем, – сказал мне Беккер с доброй улыбкой, – слишком философское произведение.

Тем не менее он принес мне маленькую квадратную книжечку с пожелтевшими от времени страницами. Философия Фауста и музыка стиха захватили меня всецело. Начал я с прекрасного, возвышенного посвящения и скоро знал целые страницы наизусть. Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те стихи, в которых он говорил о понимании природы:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat Du hast mir nicht umsonst.
Dein Angesicht im Feuer zugewendet... etc.
(Могучий дух, ты все мне, все доставил,
О чем просил я. Не напрасно мне
Твой лик явил ты в пламенном сиянье.
Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить мне силы дал...
Ты показал мне ряд созданий жизни,
Ты научил меня собратий видеть
В волнах, и в воздухе, и в тихой роще.)

И теперь еще это место производит на меня сильное впечатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом. Есть ли более высокое эстетическое наслаждение, чем чтение стихов на не совсем хорошо знакомом языке? Все покрывается тогда своего рода легкой дымкой, которая так подобает поэзии. Те слова, которые, когда мы знаем разговорный язык, режут наше ухо несоответствием с передаваемым образом, сохраняют

свой тонкий, возвышенный смысл. Музыкальность стиха особенно улавливается.

Первая лекция В. И. Классовского явилась для нас откровением. Было ему под пятьдесят; роста он был небольшого, стремителен в движениях, имел сверкающие умом и сарказмом глаза и высокий лоб поэта. Явившись на первый урок, он тихо сказал нам, что не может говорить громко, так как страдает застарелой болезнью, а поэтому просит нас сесть поближе к нему. Классовский поставил свой стул возле первого ряда столов, и мы облепили его, как рой пчел.

Он должен был преподавать нам грамматику, но вместо скучного предмета мы услышали нечто совсем другое. Он читал, конечно, грамматику: но то он сопоставлял место из былины со стихом из Гомера или из Магабгараты, прелесть которых давал нам понять в переводе, то вводил строфу из Шиллера, то вставлял саркастическое замечание по поводу какого-нибудь современного предрассудка. Затем следовала опять грамматика, а потом какие-нибудь широкие поэтические или философские обобщения.

Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого; но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает пред нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит идти все дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями... Одни из нас навалились на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского. У всех глаза блестели. Мы жадно ловили его слова. К концу урока голос профессора упал, но тем более внимательно слушали мы, затаив дыхание. Инспектор приоткрыл было дверь, чтобы посмотреть, как у нас идут дела с новым преподавателем, но, увидав рои застывших слушателей, удалился на цыпочках. Даже Донауров, натура вообще мятежная, и тот вперился глазами в Классовского, как будто хотел сказать: «Так вот ты какой!» Неподвижно сидел даже безнадежный Ключенау, кавказец с немецкой фамилией. В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, существования которого мы до сих пор не подозревали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось. Предсказание Винклера, что в конце концов я полюблю школу, оправдалось.

К несчастью, к концу зимы Классовский заболел и должен был уехать из Петербурга. Вместо него был приглашен другой учитель – Тимофеев, тоже очень хороший человек, но другого рода. Классовский был в сущности политический радикал. Тимофеев был эстетик. Он был большой почитатель Шекспира и много говорил нам о нем. Благодаря ему я глубоко полюбил Шекспира и по несколько раз перечитывал все его драмы в русском переводе, часто я читал Шекспира вслух кому-нибудь из товарищей.

Когда мы перешли в третий класс, Классовский вернулся к нам, и я еще больше привязался к нему.

Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей и деятельниц в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой

учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой и которому предоставлена свобода выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить таким образом в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности. Так как он говорит о развитии языка, о раннем эпосе, о народных песнях и музыке, а впоследствии о современной беллетристике и поэзии, о научных, политических и философских течениях, отразившихся в ней, то он обязан вести обобщающие понятия о развитии человеческого разума, излагаемые врозь в каждом отдельном предмете.

То же самое следовало бы делать при преподавании естественных наук. Мало обучать физике и химии, астрономии и метеорологии, зоологии и ботанике. Как бы ни было поставлено преподавание естественных наук в школе, ученикам следует сказать о философии естествознания, внушить им общие идеи о природе по образцу, например, обобщений, сделанных Гумбольдтом в первой половине «Космоса».

Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое понимание жизни природы – вот что необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественнонаучное мировоззрение. Мне думается, что преподаватель географии мог бы всего лучше выполнить эту задачу; но тогда нужны, конечно, совсем другие преподаватели этого предмета в средних школах и совсем другие профессора на кафедрах географии в университетах.

У нас в корпусе географию преподавал «знаменитый» Белоха. Белоха требовал, чтобы каждый ученик, вызванный к доске, провел на ней мелом градусную сеть и затем начертил карту. Прекрасная вещь, если бы все умели это делать. Но вычертить на память карту, сколько-нибудь похожую на что-нибудь, могло только всего пять-шесть учеников. Каждому, кто не умел вычертить карту на классной доске, Белоха ставил безжалостно «ноли».

Чтобы избежать «нолей», мы обзавелись маленькими, сантиметров в пять длины, карточками, которые мы называли почему-то шпаргалками. Пользовались мы ими таким образом: вызывает, например, Белоха Донаурова.

Донауров идет к доске, затем возвращается обратно на место и говорит:

– Крототкин, дай твой платок, я свой забыл.

Я уже подготовил маленькую карту Европы и передаю ее Донаурову вместе с платком. Донауров сморкается и вкладывает карточку в ладонь левой руки. Покуда Белоха спрашивает другого ученика или смотрит в журнал, Донауров чертит карту со шпаргалки, называет приблизительно верно города, горы, реки и получает «балл душевного спокойствия», то есть «шесть». Иначе Донауров непременно получил бы «двойку» или «тройку», а то и «ноль», а «ноль» – это значит быть два воскресенья без отпуска.

Я с жаром взялся за изготовление карт-шпаргалок, и у меня составилась целый географический миниатюрный атлас в двух или трех экземплярах. Когда я в полутемном каземате Петропавловской крепости вычерчивал с претензией на художественность карты Финляндии, не раз повторял я, любуясь своей работой:

– Спасибо Белохе, без шпаргалок я никогда не научился бы так чертить.

Конечно, если бы Белоха давал нам уже готовую литографированную сетку и заставлял бы нас раза два-три счертить каждую карту на глаз, а не на память с другой карты, мы так же или даже лучше удержали бы в памяти географические очертания той или иной страны.

Белоха никому из нас не привил любви к географии, а между тем преподавание географии можно было бы сделать интересным и увлекательным. Учитель географии мог бы развернуть перед учениками всю картину мира во всем ее разнообразии и гармонической сложности. К сожалению, школьная география до сих пор является одной из самых скучных наук.

Другой учитель покорила наш шумный класс совсем иным путем. То был учитель чистописания, последняя спица в педагогической колеснице. Если к «язычникам», то есть к преподавателям французского и немецкого языков, вообще питали мало уважения, то тем хуже относились к учителю чистописания Эберту, немецкому еврею. Он стал настоящим мучеником. Пажи считали особым шиком грубить Эберту. Вероятно, лишь его бедностью объяснялось, почему он не отказался от уроков в корпусе. Особенно плохо относились к учителю «старички», безнадежно засевшие в пятом классе на второй и третий год. Но так или иначе Эберт заключил с ними договор: «По одной шалости в урок, не больше» К сожалению, должен сознаться, что мы не всегда честно выполняли договор.

Однажды один из обитателей далекой «Камчатки» намочил губку в чернила, посыпал ее мелом и швырнул в учителя чистописания. «Эберт, лови!» – крикнул он, глупо ухмыляясь. Губка попала Эберту в плечо. Белесая жижка брызнула ему в лицо и залила рубаху.

Мы были уверены, что на этот раз Эберт выйдет из класса и пожалуется инспектору, но он вынул бумажный платок, утерся и сказал: «Господа, одна шалость, больше нельзя! Рубаха испорчена», – прибавил он подавленным голосом и продолжал исправлять чью-то тетрадь.

Мы сидели, пристыженные и ошеломленные. Почему, вместо того чтобы жаловаться, он прежде всего вспомнил о договоре? Расположение класса сразу перешло на сторону учителя.

– Свинство ты сделал! – стали мы упрекать товарища. – Он бедный человек, а ты испортил ему рубаху!

Виноватый сейчас же встал и пошел извиняться.

– Учиться надо, господа, учиться! – печально ответил Эберт. И больше ничего.

После этого класс сразу притих. На следующий урок, точно по уговору, большинство из нас усердно выводило буквы и носило показывать тетради Эберту. Он сиял и чувствовал себя счастливым в этот день.

Этот случай произвел на меня глубокое впечатление и не изгладился из памяти. До сих пор я благодарен этому замечательному человеку за его урок.

С учителем рисования Ганцом у нас никогда не могли установиться мирные отношения. Он постоянно «записывал» шаловливых во время его урока, а между тем, по нашим понятиям, он не имел права так поступать, во-первых, потому, что был лишь учителем рисования, а во-вторых, и самое главное, потому, что не был человеком добросовестным. Во время урока он на большинство из нас не обращал никакого внимания, так как исправлял рисунки лишь тем, которые брали у него частные уроки или заказывали ему рисунки к экзамену. Мы ничего не имели против товарищей, заказывавших рисунки. Напротив, мы считали вполне естественным, что ученики, не проявлявшие способностей к математике или не обладавшие памятью, чтобы заучивать географию, и получавшие по этим предметам плохие отметки, заказывали писарю хороший рисунок или топографическую карту, чтобы получить «полные двенадцать» и улучшить таким образом общий вывод. Только первым двум ученикам не следовало это делать. «Но самому учителю не подобает, – рассуждали мы, – выполнять рисунки на заказ. А раз он делает так, то пусть же покорно переносит наш шум и проказы». Но Ганц, вместо того чтобы покориться, жаловался после каждого урока и с каждым уроком все больше и больше «записывал».

Когда мы перешли в четвертый класс и почувствовали себя полноправными гражданами корпуса, мы решили обуздать Ганца.

– Сами виноваты, что он так заважничал у вас, – говорили нам старшие товарищи. – Мы его держали в ежовых рукавицах.

Тогда мы тоже решили вышколить его.

Однажды двое из нашего класса, отличные товарищи, подошли к Ганцу с папиросами в руках и попросили огонька. Конечно, это была лишь шутка; никто не думал курить в классе. По нашим понятиям, Ганц попросту должен был сказать проказникам: «Убирайтесь!» Но вместо того он записал их в журнал, и обоих сильно наказали. То была капля, переполнившая чашу. Мы решили устроить Ганцу «балаган». Это значило, что весь класс, вооружившись одолженными у старших пажей линейками, станет барабанить ими по столам до тех пор, покуда учитель уберется вон.

Выполнение заговора представляло, однако, некоторые затруднения. В нашем классе было немало маменькиных сынков, которые дали бы обещание присоединиться к демонстрации, но в решительный момент трусили бы и пошли на попятный. Тогда учитель мог пожаловаться на остальных. Между тем, по нашему мнению, в подобных предприятиях единодушие означает все, так как наказание, какое бы оно ни было, всегда легче, когда падает на целый класс, а не на немногих.

Затруднение было преодолено с чисто макиавеллиевской ловкостью. Условились, что по данному сигналу все повернутся спиной к Ганцу, а затем уже начнут барабанить линейками, которые будут лежать для этой цели наготове на столах второго ряда. Таким образом, маменькиных сынков не испугает вид Ганца. Но сигнал! Разбойничий посвист, как в сказке, крик или даже чиханье негодились. Ганц сейчас бы донес на того, кто свистнул или чихнул. Предстояло придумать беззвучный сигнал. Решили, что один из нас, хорошо рисовавший, понесет показать Ганцу рисунок. Сигналом будет, когда он вернется и сядет на место.

Все шло прекрасно. Нестеров понес рисунок, а Ганц исправлял его несколько минут, которые показались нам бесконечными. Но вот Нестеров вернулся наконец, остановился на мгновение, взглянул на нас, затем сел... Сразу весь класс повернулся спиной к учителю; линейки отчаянно затрещали по столам. Некоторые, покрывая трескотню, кричали: «Ганц, пошел вон!» Шум получился оглушительный. Все классы знали, что Ганц получил полностью бенефис. Он поднялся, пробормотал что-то, наконец удалился. Вбежал офицер. Шум продолжался. Тогда влетел субинспектор, а за ним и инспектор. Шум прекратился. Началась разноска.

– Старший под арест! – скомандовал инспектор. Так как первым учеником в классе, а потому и старшим был я, то меня повели в карцер. В силу этого я не видел всего дальнейшего. Явился директор. Ганцу предложили указать зачинщиков; он не мог никого назвать.

– Они все повернулись ко мне спиной и стали шуметь, – ответил он. Тогда весь класс повели вниз. Хотя телесное наказание совершенно уже не практиковалось в нашем корпусе, но на этот раз высекли двух пажей, попросивших у Ганца закурить. Мотивировались розги тем, что бенефис устроили в отмщение за наказание проказников.

Узнал я о всем этом десять дней спустя, когда мне разрешили возвратиться в класс. Меня стерли с красной доски, чем я ничуть не огорчился. Зато должен сознаться, что десять дней без книг в карцере показались мне несколько длинными. Чтобы скоротать время, я сочинил в дубовых стихах оду, в которой воспевались славные деяния четвертого класса.

Само собой разумеется, мы стали героями корпуса. Целый месяц потом мы все рассказывали другим классам про наши подвиги и получали похвалы за то, что выполнили все так единодушно и никого не поймали отдельно. Затем потянулись воскресенья без отпуска вплоть до самого Рождества... Весь класс был так наказан. Впрочем, так как мы сидели все вместе, то проводили эти дни очень весело. Маменькины сынки получали целые корзины с лакомствами. У кого водились деньжонки, те накупили горы пирожков. Существенное до обеда, а сладкое – после. По вечерам товарищи из других классов доставляли контрабандным путем славному четвертому классу массу фруктов.

Ганц не записывал больше никого; но с рисованием мы покончили. Никто не хотел учиться рисованию у этого продажного человека.

III. Переписка с Сашей. Его увлечение философией и политической экономией. Религия. Великое разочарование. Тайные свидания с братом

Как только я поступил в корпус, у меня началась с Сашей оживленная переписка. Брат Саша в это время был в Москве, в кадетском корпусе. Покуда я оставался дома, от переписки пришлось отказаться, так как отец считал своим правом распечатывать все письма, прибывавшие в наш дом, и скоро положил бы конец всякой небанальной корреспонденции. Теперь мы имели полную возможность обсуждать в письмах что угодно. Было лишь одно затруднение: как достать денег на почтовые расходы? Мы, однако, скоро приучились писать так мелко, что умудрялись передавать невероятную массу вещей в одном письме. Александр писал удивительно. Он ухитрялся помещать по четыре печатных страницы на одной стороне листа обыкновенной почтовой бумаги. При всем том его микроскопические буквы читались так же легко, как четкий непарель. Крайне жаль, что некоторые из этих писем, которые я хранил, как святыню, исчезли. Жандармы забрали их у брата во время обыска.

В первых письмах мы говорили главным образом про мелочи корпусной жизни, но вскоре переписка приняла более серьезный характер. Брат не умел писать о пустяках. Даже в обществе он оживлялся лишь тогда, когда завязывался серьезный разговор, и жаловался, что испытывает «физическую боль в голове», как он говорил, когда находился среди людей, болтающих о пустяках. Саша сильно опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться. С этой целью он поднимал один за другим вопросы философские и научные, присылал мне целые ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учиться. Как счастлив я, что у меня такой брат, который при этом еще любил меня страстно. Ему больше всего и больше всех обязан я моим развитием.

Иногда, например, он советовал мне читать стихи и посылал в письмах длинные выдержки, а то и целые поэмы Лермонтова, А. К. Толстого и т. д., которые писал на память. «Читай поэзию: от нее человек становится лучше», – писал он. Как часто потом вспоминал я это замечание и убеждался в его справедливости! Читайте поэзию: от нее человек становится лучше! Саша сам был поэтом и мог писать удивительно звучные стихи. Но реакция против искусства, прошедшая в молодежи в начале шестидесятых годов и изображенная Тургеневым в «Отцах и детях», заставила брата смотреть с пренебрежением на свои поэтические опыты. Его всецело захватили естественные науки. Должен, однако, сказать, что моим любимым поэтом был не тот, кого более всего ценил брат. Любимым поэтом Александра был Веневитинов, тогда как моим был Некрасов. Правда, стихи Некрасова часто не музыкальны, но они говорили моему сердцу тем, что заступались за «униженных и

обиженных».

«Человек должен иметь определенную цель в жизни, – писал мой брат, – без цели жизнь не в жизнь». И он советовал мне наметить такую цель, ради которой стоило бы жить. Я был тогда слишком молод, чтобы найти ее, но в силу призыва что-то неопределенное, смутное, «хорошее» закипало уже во мне, хотя я сам не мог бы определить, что такое будет это «хорошее».

Отец давал нам очень мало карманных денег. У меня их никогда не имелось столько, чтобы купить хотя бы одну книгу. Но если Александр получал несколько рублей от какой-нибудь тетушки, то никогда не тратил ни копейки лично на себя, а покупал книгу и посылал ее мне. Саша был против беспорядочного чтения. «Приступая к чтению книги, у каждого должен быть вопрос, который хотелось бы разрешить», – писал он мне. Тем не менее я тогда не вполне оценил это замечание. Теперь я не могу без изумления вспомнить громадное количество книг, иногда совершенно специального характера, которые я тогда прочитал по всем отраслям знания, а главным образом по истории. Я не тратил времени на французские романы, с тех пор как Александр решительно определил их так: «Они глупы, и там ругаются скверными словами».

Главной темой нашей переписки был, конечно, вопрос о выработке миросозерцания. В детстве мы никогда не отличались религиозностью. Нас брали в церковь, но в маленькой деревенской церкви торжественное настроение народа производит гораздо более сильное впечатление, чем сама служба. Из всего того, что я слышал в церкви, лишь две вещи произвели на меня впечатление: чтение в страстной четверг «двенадцати евангелий» и молитва Ефрема Сирина, которая действительно прекрасна как по простоте, так и по глубине чувства. Пушкин переложил ее, как известно, в стихи:

Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей...

Еще раз у меня шевельнулось чувство вроде религиозного – это когда мы с Ульяной, нашей няней, вышли рано утром к заутрене в страстную пятницу. Утренний холодок, замерзшие лужицы, весенний воздух и встающее солнце – все это создавало какое-то особое настроение. Но что тут было главное – заутреня или поэзия природы? Заутрени я вовсе не помню, но помню и воздух, и замерзшие лужицы, и весеннее солнце – точно живая страница из Тургенева в природе.

Вообще православная церковная служба в маленьких церквях, и особенно в деревнях, обставлена так, что производит в ней впечатление не сама служба, а, скорее, молящийся народ. В Никольском, например, священник торопится (нужно бежать на покос), отжаривает с поразительной скоростью царскую фамилию, которую при Николае I приходилось отчитывать четыре раза во время обедни с начала до конца, заканчивая королевой Нидерландской Анной Павловной (королеву «Меделянскую», как мы тогда говорили).

Рыжий пономарь, когда ему приходилось сорок раз подряд говорить «господи помилуй», жарил так, что на всю церковь так и раздавалось «помело-с, помело-с». А дьячок Иван Степанович, с копной никогда не расчесываемых седых волос на голове, с соломой и репейником в волосах и в бороде, поет «Иже херувимы», а сам в это время найдет кусок сухой баранки в налое и грызет ее среди пения: «Иже хе-хе-хе (проглотит) ру-ви-и-и-и-мы», а потом вытаскивает какое-то насекомое из бороды и давит: «...тайно о-бра-зу (хлоп его) у-ю-ще» – и т. д.

Ну, да и в Москве бывало не лучше. Уж на что «выразительно» служил у Успенья на могильцах Ипполит Михайлович Богословский-Платонов. И певчие превосходные, и сам так выразительно произносит слова, и даже проповеди читал. Все дамы из Старой Конюшенной ходили к нему. А между тем однажды, когда он выносил дары и дьякон пыжился, бая «благочестивейшего, самодержавнейшего!..», Ипполит Михайлович, заметив, что рослый лакей загородил одну из наших красавиц близ амвона, густым отчетливым шепотом сказал ему: «Куда лезешь, болван! Ступай назад!»

Да и вообще вся обедня с «дарами», которые считаются «телом господним», и «херувимами», и с вычитыванием тут же царской фамилии всегда коробила меня. Когда служат соборно, и каждый священник своим голосом – один басом, другой гнусавым голосом, третий старческим шепотом – наперерыв друг за другом бормочет: «...и супругу его, благочестивейшую... и великого князя такого-то», – и так далее без конца, – все это вызывало во мне отвращение, и я видел в этом только одну смешную сторону.

Впоследствии в Петербурге я бывал несколько раз в католической церкви, но меня поразила там театральность и отсутствие истинного чувства. Впечатление это было еще сильнее, когда я видел простую веру какого-нибудь отставного польского солдата или же крестьянки, молившихся в дальнем углу. Заходил я также и в протестантскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя на том, что шептал стихи Гете:

...пожалуй, этим

Вы угодите дуракам и детям:

Но сердце к сердцу речь не привлечет,

Коль не из сердца ваша речь течет.

Александр в то время с обычным пылом увлекся лютеранством. Он прочел книгу Мишлэ о Сервете и составил себе собственную веру по образу этого знаменитого антитринитария. С энтузиазмом изучил он Аугсбургскую декларацию, которую перевел и прислал мне; наши письма тогда переполнены были рассуждениями о благодати и цитатами из посланий апостолов Павла и Якова. Я слушал брата, но богословские беседы не особенно глубоко интересовали меня. Я стал читать книги совсем другого характера, когда оправился от тифа.

Лена была тогда уже замужем, жила в Петербурге, и по субботам вечером я отправлялся к ней. Муж ее имел порядочную библиотеку, в которой находились энциклопедисты и лучшие произведения современных французских философов. Я погрузился в чтение этих книг. Они были запрещенные, и я не мог брать их с собою в корпус, но зато по субботам до глубокой

ночи я читал энциклопедистов, «Философский словарь» Вольтера, произведения стоиков, в особенности Марка Аврелия, и т. д. Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впечатление на всю жизнь.

Александр между тем постепенно дошел до кантианского критицизма. Письма его наполнились «относительностью представлений», «представлениями во времени и в пространстве и во времени только» и т. д. Почерк становился все более и более микроскопическим, по мере того как возрастала важность предмета. Но ни тогда, ни впоследствии, когда мы целыми часами обсуждали кантовскую философию, брату не удалось превратить меня в поклонника кенигсбергского философа.

Моими любимыми предметами стали точные науки – математика, физика и астрономия.

В 1858 году, еще до появления бессмертного труда Дарвина, профессор зоологии Московского университета К. Ф. Рулье напечатал три лекции о трансформизме. Мой брат тотчас же ухватился за идею об изменчивости видов; но он не довольствовался приблизительными доказательствами, а занялся изучением специальных работ о наследственности и т. п. В письмах он сообщал мне главные факты, а также свои выводы и сомнения. Появление «Происхождения видов» не разрешило его сомнений по поводу некоторых специальных пунктов. Книга Дарвина только подняла ряд новых вопросов, которые побудили его заниматься еще с большим усердием. Впоследствии мы обсуждали – и наши обсуждения продолжались много лет – различные вопросы, касающиеся происхождения уклонений в видах, возможности передачи этих уклонений по наследству и усиление их. Короче, нас занимали те трудности в теории естественного подбора, которые были недавно подняты в научном споре между Спенсером и Вейсманом, в исследованиях Гальтона и в трудах современных неоламаркистов. Благодаря своему философскому и критическому уму, Александр сразу заметил, какое важное значение для теории изменчивости видов имеют эти вопросы, которые тогда были недосмотрены многими учеными.

Должен я также упомянуть о временной экскурсии в область политической экономии. В 1858 и 1859 годах все в России говорили о политической экономии. Лекции о протекционизме и свободной торговле привлекали массу слушателей. Горячо, хотя и ненадолго, заинтересовался экономическими вопросами и Александр, который тогда еще не был поглощен всецело происхождением видов. Он прислал мне для прочтения курс Жана Батиста Сея; я прочел, однако, лишь несколько глав: тарифы и банковые операции не интересовали меня. Зато Александр увлекся всеми этими материями так сильно, что писал даже о них мачехе, пытаясь заинтересовать ее системой таможенных пошлин. Впоследствии, в Сибири, мы перечитывали эти письма. Мы хохотали, как дети, когда дошли до одного послания, в котором Саша горько жаловался на неспособность мачехи заинтересоваться даже такими жгучими вопросами и неистовствовал по поводу одного «меднолобого зеленщика», которого изловил на улице. Со многими восклицательными

знаками Саша писал: «Поверишь ли, несмотря на то что он лавочник, этот болван со свинским равнодушием относился к тарифным вопросам!»

Каждое лето половина всех пажей уходила в лагерь в Петергоф. Два младших класса освобождались, однако, от этого. Таким образом, два года я проводил каникулы в Никольском. Оставить корпус, поехать в Москву и встретить там Александра было для меня таким счастьем, что я считал дни. Но раз в Москве меня ждало большое разочарование. Александр не выдержал экзамены и остался на второй год в том же классе. В сущности, он был еще слишком молод для специальных классов, но тем не менее отец очень рассердился и не позволил нам видеться. Меня это крайне опечалило. Мы уже не были детьми, и у нас много накопилось, что сказать друг другу. Я попытался отпроситься к тетке Сулима, в доме которой надеялся встретить брата, но получил решительный отказ. После второй женитьбы отца нам запретили ходить к родственникам матери.

В ту весну наш московский дом был полон гостей. Каждый вечер приемные ярко освещались, играл оркестр, кондитер приготавливал мороженое и печенье, а картежная игра в большой зале шла до поздней ночи. Я бродил бесцельно по ярко освещенным комнатам и чувствовал себя несчастным.

Раз ночью, после десяти, кто-то из слуг поманил меня знаком и шепнул, чтобы я вышел в переднюю. Я вышел. «Идите в людскую, – шепнул старый дворецкий Фрол, – Александр Алексеевич там».

Я помчался через двор, быстро взбежал на крыльцо, в людскую. В полутемной большой комнате за громадным столом я увидел Александра.

– Саша, мой милый, откуда ты? – мы кинулись в объятия друг другу. Некоторое время мы ничего не могли сказать от волнения.

– Тише! Еще услышат нас! – зашептала кухарка Прасковья, утирая глаза углом передника. – Бедные сиротки! Если бы ваша мамаша жива была!..

Старый Фрол тоже стоял, понутив голову, и у него глаза мигали.

– Смотри же, Петя, никому ни слова! Слышишь, никому, – сказал он.

Прасковья между тем поставила на стол перед Александром горшок с кашей.

Сверкающий здоровьем Саша принялся уже говорить о разных разностях, уписывая в то же время кашу. Горшок пустел. Я едва мог добиться от Саши, как он явился так поздно. Жили мы тогда близ Смоленского бульвара, в Левшинском переулке, в нескольких шагах от того дома, в котором умерла мать[7], кадетский же корпус находился на другом конце Москвы, в Лефортове, верстах в семи.

Саша вместо себя уложил под одеяло чучело, сделанное из платья, затем спустился незаметно через окно «башни» и все семь верст прошел пешком.

– А ты не боялся проходить пустырями, возле корпуса? – спросил я.

– Кого мне бояться. Разве что на меня накинулись собаки, но я их сам же раздражил. Завтра захвачу с собой тесак.

Кучера и другие слуги приходили между тем. Они вздыхали, глядя на нас, затем садились у стен и тихо перешептывались порой, чтобы не помешать нам. А мы, обнявшись, просидели до полуночи и беседовали о туманных пятнах и о гипотезе Лапласа, о строении вещества, о борьбе папской и императорской власти при Бонифации VIII и т. п.

Время от времени вбегал кто-нибудь из слуг и говорил:

– Петенька, поди покажись в зале, а то они поднялись от карт и могут хватиться тебя.

Я умолял Сашу, чтобы он не приходил на следующую ночь, но он тем не менее явился, выдержав предварительную стычку с собаками, против которых захватил тесак.

Еще быстрее вчерашнего помчался я на другой день, когда меня позвали в людскую. На этот раз Саша часть дороги проехал на извозчике. Прошлой ночью один из слуг принес ему деньги, которые получил от игравших в карты гостей, и упросил принять их. Саша взял немного мелочи на извозчика и поэтому прибыл раньше.

Думал он приехать на следующий день, но так как наши свидания могли навлечь беду на слуг, то мы решили расстаться до осени. Из коротенького официального письма, полученного на другой день, я узнал, что его ночные похождения остались нераскрытыми. Если бы про них узнали в корпусе, наказание было бы ужасно. Страшно даже подумать об этом! Сечение розгами перед всем корпусом до потери сознания, покуда несчастного унесут на простыне в госпиталь, а затем разжалование в кантонисты – все было возможно в то время.

Не менее жестоко пострадали бы слуги, если бы отец узнал про наши свидания. Но они умели хранить тайны и не выдавали друг друга. Все они знали про посещения Александра, но никто не обмолвился ни словом перед кем-нибудь из наших. Лишь только они да я во всем доме знали про свидания.

IV. Ярмарка в Никольском. Первая статистическая работа. Поездка с «Козлом». Белая харчевня

К тому же году относится мой первый опыт исследования народной жизни. Он пододвинул меня на шаг ближе к нашим крестьянам и показал мне их в новом свете, а также пригодился впоследствии в Сибири.

Ежегодно в июле, в день казанской божьей матери, в храмовой праздник нашей церкви, в Никольском бывала большая ярмарка. Съезжались купцы из соседних городов; несколько тысяч крестьян собиралось из окрестных Деревень верст за сорок. Никольское тогда кипело народом два дня. В этом году Аксаков напечатал свое замечательное исследование украинских ярмарок. Саша, увлечение которого политической экономией стало тогда в зените, посоветовал мне сделать статистическое описание нашей ярмарки с целью определить оборот ее. Я последовал совету и, к великому моему изумлению, выполнил работу довольно успешно. Мои вычисления оборота, насколько я могу теперь припомнить, заслуживали столько доверия, сколько результаты многих статистических исследований.

Ярмарка наша продолжалась немного больше суток. Накануне храмового праздника ярмарочная площадь кипела жизнью. Наскоро сооружался длинный ряд навесов, под которыми продавались ситцы, нитки, ленты и всякие деревенские обновы. В большой каменный сарай привозились столы, стулья и скамьи, и он превращался в трактир. Пол его посыпался ярким желтым песком. Сооружались три новых кабака, издали привлекавшие внимание крестьян веником, насаженным на длинный шест. С изумительной быстротой вырастали ряды меньших лавчонок, в которых продавались посуда, сапоги, пряники и разная мелочь. В одном конце ярмарки вырывали в земле походные кухни. В громадных котлах варились целые бараны и четверики пшена и гречневой крупы. Тут стряпали щи и кашу для всей ярмарки. Накануне казанской, к полудню, на всех дорогах, ведущих к селу, уже не было проезда от пригнанного скота и крестьянских телег и возов, нагруженных глиняной посудой, бочками с дегтем, хлебом.

Всенощная служилась в нашей церкви с необычной торжественностью. Служили ее соборно около десятка священников и дьяконов из всех соседних сел. А дьячки на клиросе, подкрепленные молодыми сидельцами, заливались совсем как архиерейские певчие в Калуге. Церковь бывала набита битком. Все молились усердно. Торговцы соперничали друг с другом числом и величиной свеч, поставленных перед иконами, чтобы торговля шла бойчее. В церкви бывало так тесно, что пришедшие позже не могли протолкаться к алтарю. Постоянно вследствие этого от дверей к алтарю, из рук в руки переходили, смотря по состоянию молящегося, толстые и тонкие, белые и желтые свечи. Передававшие шептали: «Заступнице нашей, пресвятой казанской божьей матери», «Николаю-угоднику», «Фролу и Лавру». А то и просто «всем святым» без дальнейших определений.

Немедленно после всенощной начиналось подторжье. Я вполне отдался работе: опрашивал сотни людей о стоимости привезенного ими товара. К моему удивлению, работа спорилась. Конечно, и мне тоже задавали вопросы: «Зачем это вам? Уж не для старого ли князя? Не хочет ли он увеличить ярмарочный сбор?» Но мое уверение, что «старый князь» ничего не знает и знать не будет (он, конечно счел бы величайшим позором, что сын его занимался подобной переписью), разрешало все сомнения. Скоро я научился, как ставить вопросы. После нескольких стаканов чая, распитых с лавочником в трактире (в какой ужас пришел бы отец, если бы узнал это), все устроилось очень хорошо. Моей работой заинтересовался также Никольский староста Василий Иванов, красивый молодой крестьянин, с умным лицом и шелковистой русой бородой.

– Коли тебе это нужно для твоей науки, то ты и делай, а потом, может, и нам пригодится, – заметил он и говорил потом крестьянам, что с моими опросами все ладно.

Короче сказать, «привоз» определился довольно точно. Но продажа, начавшаяся на другой день, представляла некоторые затруднения. Торгующие красным товаром сами еще не знали, на сколько они продали. В день храмового праздника молодые крестьянки просто брали лавки приступом. Каждая из них, продавши немного самотканого полотна, теперь покупала ленту, ситцу, цветной головной платок для себя, шейный платок для мужа и небольшие гостинцы для стариков и ребятишек, оставшихся дома. Что касается до тех, кто торговал посудой, пряниками, скотом или пенькой, то они (в особенности же старухи) сразу определяли сумму.

– Хорошо торговала, бабушка? – задавал я вопрос.

– Грех жаловаться. Что бога гневить! Почти все уж продала.

И из маленьких итогов, которые они мне давали, у меня в записной книжке в общем складывались суммы в десятки тысяч рублей. Только один пункт остался не выясненным. Под палящим солнцем стояли сотни баб. Каждая принесла на продажу кусок самотканого холста, очень тонкого. Десятки покупателей с цыганскими лицами и ястребиными глазами шныряли в толпе, покупая холст. Эти сделки я мог определить лишь приблизительно при помощи Василия Иванова.

Я тогда не философствовал над своим опытом и просто радовался, что он удался. Но здравый смысл и способность быстрого русского крестьянина, выяснившиеся мне в эти два дня, произвели на меня глубокое впечатление. Впоследствии, когда мы занимались революционной пропагандой в народе, я нередко удивлялся тому, что мои товарищи, получившие гораздо более демократическое воспитание, чем я, не знали, как приступить к крестьянам или фабричным. Они пытались подделаться под народный говор, вводили много так называемых народных оборотов, но этим делали свою речь более непонятной.

Ничего подобного не требуется, когда говоришь или же пишешь для народа. Великорусский крестьянин отлично понимает интеллигентного человека, если только последний не начинает свою речь иностранными словами. Крестьянин не понимает лишь отвлеченных понятий, если они не пояснены наглядными примерами. Вообще я убедился из опыта, что нет такого вопроса из области естественных наук или социологии, которого нельзя бы изложить совершенно понятно для крестьян и вообще для деревенского населения всех стран. Требуется только, чтобы вы сами совершенно ясно понимали, о чем вы говорите, и говорили просто, исходя из наглядных примеров. Главное отличие между образованным и необразованным человеком то, что второй не может следить за цепью умозаключений. Он улавливает первое, быть может, и второе; но третье уже утомляет его, если он еще не видит конечного вывода, к которому вы стремитесь. Впрочем, как часто то же самое мы видим и в образованных людях.

Вынес я еще одно впечатление из этой юношеской работы, хотя оформил его лишь впоследствии. По всей вероятности, оно удивит не одного читателя. Я имею в виду дух

равенства, крайне определенно выраженный не только в русских крестьянах, но вообще в деревенском населении всех стран. Мужик может рабски повиноваться помещику или полицейскому чиновнику; он подчиняется беспрекословно их воле, но он отнюдь не считает их высшими людьми. Через минуту тот же крестьянин будет с бариним разговаривать как равный с равным, если речь пойдет о сене или об охоте. Во всяком случае никогда я не наблюдал в русском крестьянине того подобострастия, ставшего второй натурой, с которым маленький чиновник говорит о своем начальнике или лакей о своем барине. Крестьянин слишком легко подчиняется силе, но не поклоняется ей.

В то лето я возвратился из Никольского в Москву необычным путем. Тогда железная дорога между Калугой и Москвой еще не существовала, а был некто «Козел», державший род почтовых дилижансов между обоими городами. Наши, конечно, никогда не ездили таким образом: на то были свои лошади и экипажи. Но отец, чтобы избавить мачеху от двойного путешествия, полушутливо предложил мне поехать дилижансом «на Козле». Я с радостью ухватился за это предложение. Мачеха довезла меня до Калуги, а оттуда я отправился с козловским тарантасом. В тарантасе нас было всего четыре человека: очень толстая купчиха, я да еще купец с мещанином на переднем сиденье. Путешествие оказалось чудное. Прежде всего я путешествовал сам (мне шел всего шестнадцатый год), а затем купчиха запаслась для трехдневного путешествия громадной корзиной с припасами и все время угощала меня всевозможными пирожками, печеньями и фруктами.

Но больше всего у меня запечатлелся один вечер. Мы остановились на постоялом дворе в большом селе. Старая купчиха заказала для себя самовар, а я отправился бродить по улицам. Мое внимание привлекла белая харчевня, и я зашел туда. За столами, покрытыми белыми скатертями, сидели крестьяне и распивали чай. Заказал и я себе пару.

Все было для меня ново. Село было не господское, а казенных крестьян, сравнительно зажиточных, было много, так как в селе было развито тканье полотна. За столами шел тихий, спокойный разговор; лишь иногда раздавался смех. Кто-то спросил меня, откуда я, куда еду, и скоро у меня завязался разговор с десятком крестьян об урожае в наших местах и о погоде, о сене. Затем мне стали задавать различные вопросы. Крестьяне желали знать все о Петербурге, а в особенности о ходивших тогда слухах о близости воли. И на меня повеяло каким-то особенно теплым чувством простоты, сердечности и сознания равенства – чувством, которое я всегда испытывал впоследствии среди крестьян. Ничего особенного не случилось в этот вечер, так что я даже себя спрашиваю, стоит ли упоминать о нем. А между тем теплая, темная ночь, спустившаяся на деревню, маленькая харчевня, тихая беседа крестьян, их пытливые расспросы о сотне предметов, лежащих вне круга их обычной жизни, все это сделало то, что с тех пор бедная белая харчевня стала для меня привлекательнее богатого, модного ресторана.

V. Бурное время в корпусе. Похороны императрицы Александры Федоровны

Корпус наш в 1860 году переживал бурное время. Когда Жирардот вышел в отставку, место его занял один из наших офицеров, капитан Федор Кондратьевич фон Бреверн. Он вообще был добрый человек, но ему засело в голову, что мы почитаем его не так, как соответствует высокому посту, занимаемому им. И вот наш капитан стал вселять в нас большое уважение и благоговение к себе и начал с того, что стал притеснять старший класс из-за всякой мелочи. Что казалось нам еще хуже, он посягнул на наши «вольности», происхождение которых терялось во мраке времен. Права эти были очень маленькие, но мы очень дорожили ими.

В результате получилось то, что корпус наш несколько дней «бунтовал». Последовало поголовное наказание и даже исключение из корпуса двух камер-пажей, наших любимцев.

Затем тот же капитан стал заходить в классы, где в течение часа до начала занятий приготавливали уроки. Мы считали, что в классах избавлены от надзора фронтового начальства, так как находимся в ведении инспектора. Нас сильно задело вторжение в класс, и раз я громко заявил капитану, что «тут место инспектора классов, а не ротного командира». За эту дерзость я был посажен на несколько недель в карцер.

Карцером в корпусе служили две совершенно темные комнаты, в одну из которых я и был заперт. Заключение получал только кусок черного хлеба и кружку воды – и больше ничего. Очувтившись в темноте карцера в первый раз, я скоро почувствовал сильную скуку. Бездеятельность буквально тяготила меня. Я начал делать гимнастику, пел отрывки из опер, но, несмотря на все это, время тянулось чрезвычайно медленно.

Прошла неделя, я все сидел. Тогда я придумал новое занятие... Я стал учиться лаять и выть по-собачьи. Через несколько дней я развил этот талант до совершенства. Я умел передавать лай собаки на луну, представлял, как лают две собаки при встрече, одна огромная и сильная, лающая басом на маленькую собачонку, которая в ответ, поджав хвост, тявкает со страхом из-за угла на большую, и т. д.

Это, казалось бы, совершенно бесполезное занятие впоследствии имело практическое значение. Когда я плывал по Амуру в почтовой лодке, то ночью мое умение лаять по-собачьи оказывало нам большую пользу. Часто, плывя в темноте в безлунные ночи по реке, мы с трудом различали очертания берегов и не знали, где находятся селения. И всякий раз, когда нужно было пристать к берегу, мой товарищ, командир почтовой лодки, серьезно говорил мне: «Петр Алексеевич, будь так добр, полай немножко».

Я не заставлял себя просить, и мой звонкий лай тотчас же разносился по широкой реке. Через несколько минут на мой лай отзывались собаки из селений на берегу, и мы могли тогда легко ориентироваться и приставали к берегу. Так в жизни всякое знание может пригодиться.

В карцере я просидел больше двух недель. Но вот однажды в соседний карцер посадили одного пажа, и он стал сообщать мне через стенку корпусные новости.

Выслушав его, я захотел показать ему свое искусство и начал выть и лаять на всякие манеры и так напугал его, что он, как только его освободили, немедленно сообщил

товарищам:

– Кропоткин, должно быть, с ума сошел за время своего пребывания в карцере, – говорил он,
– я ему рассказываю все наши новости, а он лает и воет, как собака, мне в ответ...

Эта сенсационная новость сейчас же дошла до начальства, и на следующий же день меня стали выпускать на занятия, а в карцер отводили только ночевать.

Наконец меня позвали к директору, генералу Желтухину. Директор был добрый человек, но, увидав меня, он принял грозный и суровый вид, начал меня бранить и грозил исключением из корпуса.

– Что это ты выдумал оскорблять капитана? Как осмелился ты отвечать так инспектору корпуса? Ты знаешь, что тебя следует одеть в бараний тулуп и отправить к твоему отцу...

Директор старался придать свирепое выражение своему добродушному лицу. Военная дисциплина требовала, чтобы я стоял «навытяжку», не издавая ни звука, и молча выслушивал выговор директора. Но вскоре его гневный тон сменился на обыкновенный. Заметив это, директор вдруг приказал мне идти «к себе» в карцер. Я ушел. На следующий день я был освобожден из карцера.

Мое освобождение было встречено с восторгом всем классом. Капитан, с которым директор имел также беседу наедине в кабинете, прекратил после этого посещения классной комнаты. Я оказался победителем.

Благодаря тому что начальство сознавало, что инспектор позволял себе лишнее и выводил нас своими придирками из терпения, мой поступок не повлек за собою строгой кары. Я не был исключен из корпуса, а отделался лишь двумя неделями карцера и отметкой об этом в журнале об успехах и поведении.

После этого жизнь в корпусе вошла в свою обычную колею. Капитан больше не посягал на наши «вольности».

Едва эти волнения кончились, смерть вдовствующей императрицы снова прервала правильное течение занятий.

Похороны высочайших особ устраиваются всегда так, чтобы произвести особенно сильное впечатление на народ. Тело императрицы было доставлено из Царского Села, где она умерла, в Петербург, и с вокзала его перевезли по главным улицам в Петропавловскую крепость. Гроб провожала вся императорская фамилия, высшие сановники, десятки тысяч чиновников и бесчисленные корпорации. Впереди шли сотни священников и хоры певчих. Сто тысяч гвардии было выстроено вдоль улиц. Тысячи людей в парадных формах участвовали в процессии, сопровождали колесницу или же шли впереди ее. На каждом перекрестке пелась лития. Звон церковных колоколов, пение громадных хоров, смешанные звуки соединенных военных оркестров – все это должно было внушать народу, что громадная толпа действительно оплакивает смерть императрицы.

Покуда гроб стоял в соборе Петропавловской крепости, пажи в числе прочих стояли возле него на часах днем и ночью. Три камер-пажа и три фрейлины постоянно дежурили возле гроба, помещавшегося на высоком катафалке, а пажей двадцать стояли на платформе, на которой два раза в день служились панихиды в присутствии императора и всей его семьи. Ради этого ежедневно отвозили в крепость чуть не половину нашего корпуса. Мы сменялись каждые два часа, и днем дежурить было нетрудно. Но жутко бывало вставать ночью, одеваться в придворное платье и затем идти в собор темными и мрачными дворами крепости при печальном перезвоне башенных часов. Холод тогда пробегал у меня, когда я вспоминал о заключенных, замурованных где-то тут, в этой русской Бастилии. «Кто знает, – думал я, – быть может, и мне предстоит когда-нибудь попасть в число их».

Похороны не обошлись без происшествия, которое могло бы иметь очень серьезные последствия. Над гробом, под куполом собора, сделан был громадный балдахин, увенчанный большой позолоченной короной. От нее к четырем громадным пилястрам, поддерживающим купол, ниспадала огромная пурпурная мантия, подбитая горностаем. Впечатление получалось сильное: но мы, пажи, скоро открыли, что золоченая корона сделана из картона и дерева, что лишь нижняя часть мантии бархатная, верхняя же – из красного кумача и что вместо горностая употребили белую бумазею с нашитыми беличьими хвостиками. Покрытые крепом щиты с гербами были тоже картонные. Но народу, которому вечером разрешили проходить мимо катафалка, чтобы приложиться к золотой парче, прикрывавшей гроб, не было времени рассмотреть бумазейный горностаю и картонные щиты. Желанный театральный эффект получался, и притом обходился недорого.

Во время панихид члены императорской фамилии, как водится, стояли с зажженными свечами, которые тушились после прочтения известных молитв. Раз один из маленьких великих князей, увидавши, что «большие» тушат свечи, перевернув их, сделал то же самое и нечаянно поджег черный креп, ниспадающий позади него с щита. Через мгновение щит и бумажная ткань пылали. Громадный огневой язык побежал вверх по тяжелым складкам так называемой горностаевой мантии.

Панихида прекратилась. Глаза всех были устремлены с ужасом на этот огненный язык, который взбегал все выше и выше, к картонной короне и к деревянной раме, поддерживавшей все сооружение. Стали падать куски горячей ткани, грозя зажечь траурные вуали дам.

Александр II потерялся лишь на мгновение, но немедленно оправился. «Нужно гроб нести», – приказал он. Камер-пажи тотчас же покрыли гроб золотой парчой, и все стали подходить, чтобы поднять его. Но в это время громадный огненный язык распался на мелкие голубые огоньки, которые пошли по ворсу ткани. Мало-помалу и они потухли среди пыли и копоти, накопившейся наверху.

Не могу сказать, на что я тогда больше засмотрелся: на ползущий ли огненный язык или на величественные и стройные фигуры трех фрейлин, стоявших возле гроба. Черные кружевные вуали висели у них вдоль плеч, а длинные шлейфы траурных платьев покрывали ступени катафалка. Ни одна из них не шелохнулась. Они стояли как прекрасные изваяния, лишь на глазах одной из них, Гамалеи, слезы блеснули, как жемчужины. Она была украинка

родом и единственная красавица среди всех фрейлин.

В корпусе все было вверх дном. Занятия прекратились. Те из нас, которые возвращались с дежурства из крепости, жили временно в разных залах и классных комнатах. Так как делать было нечего, то придумывались различные проказы. Так, мы открыли стоявший в одной комнате шкаф, в котором находилась великолепная коллекция моделей животных, предназначавшаяся для преподавания естественной истории.

Собственно говоря, таково было ее официальное назначение, но нам никогда не показывали животных. Зато мы решили воспользоваться моделями теперь. Из черепа, который мы нашли в шкафу, мы сделали привидение, чтобы пугать ночью товарищей и офицеров. Животных же мы разместили в самых уморительных положениях и группах: обезьяны разъезжали верхом на львах, овцы играли с леопардами, жирафы танцевали со слонами и т. д. Хуже всего было то, что в корпус приехал прусский принц, прибывший на похороны (кажется, тот самый, который стал впоследствии императором Фридрихом). Наш директор не преминул похвастать прекрасными педагогическими коллекциями и подвел гостя к злосчастному шкафу. Едва прусский принц увидал нашу зоологическую классификацию, у него вытянулось лицо, и он быстро отвернулся. Директор оцепенел от ужаса, он лишился способности произносить членораздельные звуки и только тыкал рукой все по направлению морских звезд, помещенных в стеклянных коробках возле шкафа. Свита принца притворилась, будто ничего не замечает, и лишь украдкой окидывала взглядом курьезную коллекцию. А мы употребляли все усилия, чтобы не расхохотаться.

VI. Занятия в Пажеском корпусе.

Изучение физики, химии, математики.

Часы досуга. Итальянская опера

Школьная жизнь юноши в России резко отличается от западноевропейской. У нас юноша в университете или в военной школе живо интересуется вопросами социальными, политическими и философскими. Так было по крайней мере в начале шестидесятых годов. Правда, из всех учебных заведений Пажеский корпус представлял наименее удобную почву для такого развития, но в ту эпоху всеобщего пробуждения прогрессивные идеи проникли к нам и захватили некоторых из нас. Это, впрочем, не мешало нам принимать деятельное участие в бенефисах и других проказах.

В четвертом классе я заинтересовался историей. По заметкам, составленным во время уроков и при помощи книг (Саша, конечно, прислал мне «Всеобщую историю» Лоренца), я написал для себя целый курс ранней истории средних веков. На следующий год меня заинтересовала борьба между папской властью и светской при Бонифации VIII и Филиппе IV; мне страстно захотелось получить разрешение работать в публичной библиотеке, чтобы там изучать великую борьбу. Это было, однако, не согласно с правилами: воспитанники средних учебных заведений туда не допускались. Добрый Беккер[8], старший библиотекарь в одном

из отделений библиотеки, впрочем, уладил все препятствия: мне разрешили доступ в святилище. Я мог занять теперь место на одном из красных бархатных диванчиков, перед одним из столиков, составлявших тогда меблировку читальни. Познакомившись с учебниками, а затем с книгами, имевшимися в нашей библиотеке, я перешел к первоисточникам. Я не знал латыни, но вскоре открыл богатые источники на старом немецком и старом французском языках. Архаические формы и выразительность языка французских летописей доставляли мне высокое эстетическое наслаждение. Передо мной раскрылся совершенно новый общественный строй; я узнал про неведомый, сложный мир. С тех пор я научился ценить исторические первоисточники больше, чем модернизированные сочинения. Из последних действительная жизнь описываемого периода вытесняется партийными тенденциями, а не то и модной формулой. Замечу также, что ничто не дает такого толчка умственному развитию, как самостоятельно сделанные изыскания. Гораздо позже эти юношеские работы очень помогли мне.

К сожалению, я должен был прекратить занятия историей, когда перешел во второй (предпоследний) класс. Пажам в два года предстояло пройти то, что в других военных школах проходило в трех специальных классах. Работать поэтому приходилось много. Естественные науки, математика и школьные военные науки отодвинули историю на задний план.

Во втором классе мы начали серьезно заниматься физикой. Преподаватель Чарухин был превосходный – умный, саркастический, ненавидевший зубрячку; он хотел, чтобы мы учились думать, а не просто заучивали факты.

Он был хорошим математиком и налегал на алгебраический анализ в физике. При этом он обладал удивительным даром: он умел выяснить основную мысль каждого физического закона и физических приборов, не теряясь в мелочах, как это делает большинство составителей учебников физики. Некоторые его вопросы были так оригинальны и объяснения так хороши, что они навеки врезались в моей памяти.

Учебник физики Ленца, которым мы пользовались, не был плох (большая часть учебников в военно-учебных заведениях была составлена лучшими учеными того времени), но он устарел: в эти годы шла уже перестройка физических теорий. В силу этого наш преподаватель, следовавший собственной методе, начал составлять краткий конспект по своему предмету, и этот конспект мы отдавали литографировать. Случилось, однако, так, что через две-три недели составлять конспект пришлось мне. Как хороший педагог, Чарухин предоставил это мне всецело и сам читал лишь корректуры. Отделы о теплоте, электричестве и магнетизме пришлось писать заново, вводя новейшие теории, и таким образом я составил почти полный учебник физики, который отлитографирован для употребления в корпусе. Легко понять, как помогла мне впоследствии эта работа.

Во втором классе мы стали также изучать химию. И для нее мы имели великолепного преподавателя – артиллерийского офицера Петрушевского, страстного любителя предмета, сделавшего несколько важных исследований.

Годы 1859–1861 были временем расцвета точных наук. Грове, Клаузиус, Джоуль и Сегэн доказали, что теплота и электричество суть лишь различные формы движения. Около этого времени Гельмгольц начал свои исследования о звуке, которые составили эпоху в науке. Тиндаль в своих популярных лекциях, так сказать, прикоснулся к самым атомам и молекулам. Герард и Авогадро ввели в химию теорию замещений, а Менделеев, Лотар Мейер и Ньюландс открыли периодическую законность химических элементов. Дарвин своим «Происхождением видов» совершил полный переворот в биологических науках, а Карл Фогт и Молешотт, следуя за Клодом Бернаром, создали физиологическую психологию.

То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда много очень хороших естественнонаучных книг в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с естественными науками и их методами необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя. Нас соединилось пять или шесть человек, и мы завели род химической лаборатории. При помощи самых простых приборов, указанных для начинающих в превосходном учебнике Штекгардта, мы засели в комнате двух товарищей, братьев Замыцких, за химические опыты. Отец их, отставной адмирал, был очень рад, что дети его с такой пользой употребляют время, и не препятствовал нам собираться по воскресеньям и праздникам в «лаборатории», находившейся рядом с его кабинетом. Руководствуясь учебником Штекгардта, мы проделали все указанные там опыты. Должен прибавить, что мы чуть не подожгли дом и не раз отравляли воздух во всех комнатах хлором и тому подобными зловонными веществами. Но старый адмирал относился к этому очень добродушно. Когда мы за обедом рассказывали старику наши приключения, он тоже сообщал нам, как раз с товарищами чуть не спалил дом, преследуя менее полезную цель, чем мы, именно приготавливая жженку. А добрейшая мать товарищей говорила между припадками удушливого кашля: «Что ж, ничего не поделаешь, если для ваших занятий вам нужно возиться с такими снадобьями».

Мы ласкались к ней за такое милое отношение, и после обеда она обыкновенно садилась за рояль, и до поздней ночи мы пели дуэты, трио и хоры из опер. А не то мы брали партитуру какой-нибудь оперы – нередко «Руслана» и пели ее всю, от начала до конца. Мать Замыцких и их сестра пели партии примадонн, старший брат прекрасно исполнял теноровую партию, а я с его младшим братом с грехом пополам выполняли остальные. Химия и музыка шли, таким образом, рука об руку.

Высшая математика заняла тоже немалую часть моего времени. Многие из нас уже решили, что не пойдут в гвардию, где фронтальная служба и парады отнимали все время. Мы намеревались после производства поступить в артиллерийскую академию или в инженерную. Для этого мы должны были изучить аналитическую геометрию, дифференциальное и начало интегрального исчисления и брали частные уроки. Элементарная астрономия преподавалась нам тогда под именем математической географии, и я увлекся, в особенности в последний год пребывания в корпусе, чтением по астрономии. Никогда не прекращающаяся жизнь вселенной, которую я понимал как жизнь и развитие, стала для меня неистощимым источником поэтических наслаждений, и мало-помалу философией моей жизни стало сознание единства человека с природой, как одушевленной, так и неодушевленной.

Если бы у нас преподавались только перечисленные предметы, то и тогда все наше время было бы совершенно заполнено. Но нам читали еще гуманитарные науки: историю, законоведение, то есть общее знакомство со сводом законов, затем основы политической экономики и сравнительной статистики. Кроме того, нужно было одолеть громаднейшие курсы военных наук: тактики, военной истории (походы 1812 и 1815 годов в мельчайших подробностях), артиллерии и полевой фортификации.

Припоминая теперь прошлое, я прихожу к заключению, что наша программа (кроме военных предметов, вместо которых мы могли бы с большей пользой изучать точные науки) была вовсе не дурна и, несмотря на свое разнообразие, вполне приходилась по силам юноше со средними способностями. Вследствие хорошего знакомства с низшей математикой и физикой, которое мы приобретали в младших классах, большинство из нас справлялось вполне удовлетворительно с программой. Многие из нас занимались, конечно, спуская рукава некоторыми предметами, например законоведением или новой историей, которая читалась у нас прескверно престарелым Шульгиным: его держали только ради выслуги полной пенсии. Но нам предоставляли известный простор в выборе любимых предметов. По ним нас экзаменовали очень строго, а по остальным – довольно снисходительно. Вообще я объясняю себе сравнительную успешность прохождения этой обширной программы конкретным характером всего преподавания. Как только мы познакомились теоретически с элементарной геометрией, мы тотчас же применяли ее в поле при помощи вех, землемерной цепи, а потом с астролябией, компасом или мензулой. После таких наглядных уроков начальная астрономия уже не представляла для нас затруднений, тогда как съемка планов, как работа в поле, становилась для нас источником удовольствий.

Та же система наглядного преподавания применялась и для фортификации. Зимой мы разрешали задачи вроде следующих: имея в распоряжении тысячу солдат, построить в двухнедельный срок возможно более сильное укрепление, чтобы защитить мост для отступающей армии; и, разрешивши задачу, мы потом горячо отстаивали наши проекты, когда преподаватель критиковал их. Летом же мы применяли наши теоретические познания на деле, в поле строя профиля укреплений. Таким образом, благодаря практическим упражнениям, большинство из нас, в возрасте 17–18 лет, очень нетрудно усваивало все эти разнообразные предметы.

За всем тем у нас оставалось еще вдоволь времени для развлечений и для проказ различного рода. Лучшее время наступало, когда кончались экзамены; до выступления в лагеря у нас тогда имелся почти месяц, совершенно свободный, а затем, по возвращении из лагерей, мы были опять свободны целых три или четыре недели. Немногие из нас, которые оставались в училище, пользовались тогда полной свободой и отпуском в любое время. В корпус мы возвращались только есть и спать. Я работал в это время в публичной библиотеке, ходил в Эрмитаж и изучал там картины, одну школу за другой, или же посещал казенные ткацкие фабрики, литейные, хрустальные и гранильные заводы, куда доступ всегда открыт. Иногда мы отправлялись компанией кататься на лодках по Неве и проводили белые ночи – когда вечерняя заря встречается с утренней и когда в полночь можно без свечи читать книгу – на реке или у рыбаков на взморье.

Вспоминается мне особенно один вечер. Раз как-то я уговорил нескольких товарищей отправиться на взморье. Мы тронулись с ранним пароходом. Пообедали в каком-то грязном трактире, а затем весь день до вечера пробродили по взморью.

Я декламировал товарищам огаревское стихотворение «Искандеру». Это стихотворение произвело на меня сильное впечатление, и я заучил его наизусть и с глубоким чувством произносил:

Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мне все снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!
Измученный рабством и духом унылый,
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,
С чужбины до самого края родного
Взывать громогласно заветное слово:
Свобода! Свобода!
И вот на чужбине, в тиши полунощной,
Мне издали голос слышался мощный...
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомощный,
Сквозь все завывания ветра ночного
Мне слышится с родины юное слово:
Свобода! Свобода!
И сердце, так дружное с горьким сомнением,
Как птица из клетки, простясь с заточением,
Взыграло впервые отрадным биением,
И как-то торжественно, весело, ново
Звучит теперь с детства знакомое слово:
Свобода! Свобода!
И все-то мне грезится снег и равнина,
Знакомое ветру лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина.
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!
Но если б грозила беда и невзгода
И рук для борьбы захотела свобода,
Сейчас полечу на защиту народа.
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода!
А если б пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне.

Но в миг передсмертный – в спокойной кручине
Не дай мне остынуть без звука святого,
Товарищ, шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!

Но плохо отзывались чудные стихи и чудные мысли в сердцах моих товарищей. Они слушали, и только. Я рос и развивался один. В эту пору еще одна повесть Тургенева глубоко запала мне в душу и на всю жизнь наложила свой отпечаток. Это было «Накануне».

«Накануне» вышло в начале 1860 года. Наступила весна, кончились у нас экзамены, и мы жили тогда в лазарете. Помню, я начал читать «Накануне» под вечер, сидя у раскрытого окна, выходявшего на наш плац. Напротив, через плац, стоял маленький домик, где жил один из наших дежурных офицеров со своими двумя молоденькими племянницами.

Я читал «Накануне» всю ночь не отрываясь. Инсаров, болгарский патриот, поглощенный одной идеей – мыслью об освобождении своей родной страны, произвел на меня сильное впечатление. Эта же повесть определила с ранних лет и мое отношение к женщине.

Из посещения фабрик я вынес тогда же любовь к могучим и точным машинам. Я понял поэзию машин, когда видел, как гигантская паровая лапа, выступавшая из лесопильного завода, вылавливает бревно из Невы и плавно подкладывает его под машину, которая распиливает ствол на доски; или же смотрел, как раскаленная докрасна железная полоса, пройдя между двумя цилиндрами, превращается в рельс. В современных фабриках машина убивает личность работника. Он превращается в пожизненного раба известной машины и никогда уже не бывает ничем иным. Но это лишь результат неразумной организации, и виновна в этом случае не машина. Чрезмерная работа и бесконечная ее монотонность одинаково вредны с ручным орудием, как и с машиной. Если же уничтожить переутомление, то вполне понятно удовольствие, которое может доставить человеку сознание мощности его машины, целесообразный характер ее работы, изящность и точность каждого ее движения. Ненависть, которую питал к машине Вильям Моррис, доказывает только, что, несмотря на его могучий талант, мощь и красота машин были ему недоступны.

Музыка тоже играла важную роль в моем развитии. Она являлась для меня еще большим источником наслаждения и энтузиазма, чем поэзия. В то время русская опера почти еще не существовала; но то был период расцвета итальянской оперы. В Петербурге она была чрезвычайно популярна и насчитывала немало крупных талантов. Когда заболела примадонна Бозио, тысячи людей, в особенности молодежи, простаивали до поздней ночи у дверей гостиницы, чтобы узнать о здоровье дивы. Она не была хороша собой, но казалась такой прекрасной, когда пела, что молодых людей, безумно в нее влюбленных, можно было считать сотнями. Когда Бозио умерла, ей устроили такие похороны, каких Петербург до тех пор никогда не видел.

Весь Петербург делился тогда на два лагеря: на поклонников итальянской оперы и на завсегдатаев французского театра, где уже тогда зарождалась гнилая оффенбаховщина, через несколько лет заразившая всю Европу. Наш класс тоже разделился на два лагеря, и я принадлежал к итальянцам. Нам не позволялось посещать кресла или галереи, а ложи в

итальянской опере разбирались за несколько месяцев до начала сезона по подписке, а в некоторых домах абонементы передавались даже по наследству. Нам оставалось, таким образом, пробираться в оперу по субботам на верхнюю галерею, где мы скучивались «в проходе» и парились как в бане. Чтобы скрыть наши бросающиеся в глаза мундиры, мы должны были стоять даже там, несмотря на духоту, в застегнутых черных ватных шинелях с меховыми воротниками. Удивительно, как это никто из нас не схватил воспаления легких, в особенности если вспомнить, что мы, разгоряченные овациями нашим любимцам, простаивали потом подолгу на улице, у театрального подъезда, чтобы еще раз поаплодировать им. В то время опера каким-то странным образом связана была с радикальным движением. Революционные речитативы в «Вильгельме Телле» или «Пуританах» всегда вызывали шумные овации, немало смущавшие Александра II. А в шестом ярусе, в курительной и на подъезде собиралась лучшая часть петербургской молодежи, объединенная общим благоговением к благородному искусству. Все это может показаться теперь ребячеством; но тогда немало возвышенных идей и чистых стремлений было заронено в нас поклонением пред любимыми артистами.

VII. Лагерная жизнь в Петергофе.

Практические занятия в поле. Совет воспитателям

Летом мы выступали в лагерь, в Петергоф, вместе с другими военными училищами Петербургского округа. В общем жилось нам там очень хорошо, и, без сомнения, мы значительно поправлялись в лагере. Спали мы в просторных палатках, купались в море и возвращались в город с запасом здоровья.

В военных училищах главное занятие в лагерях, конечно, фронтовая служба. Мы все ее терпеть не могли, но скука ее порой смягчалась тем, что мы принимали участие в маневрах. Раз, когда мы уже ложились спать, Александр II поднял лагерь, приказавши бить тревогу. Через несколько минут весь лагерь ожил. Несколько тысяч мальчиков собрались вокруг знамен. В ночной тишине раздался тяжелый гул пушек артиллерийского училища. Весь военный Петергоф прискакал в лагерь; но вследствие какого-то недоразумения царю не приводили лошади. Поскакали во все концы ординарцы, чтобы достать царю коня, но коня не оказывалось. Так как Александр II был не особенно хороший наездник, то он не садился на чужую лошадь. Он был очень сердит, и, когда к нему подскакал ординарец, рапортуя: «Лошадь вашего величества ведут с Бабыгоны», – он грозно разразился: «Дурак, разве у меня одна лошадь?»

Сгущавшаяся темнота, пушечные выстрелы, топот кавалерии – все это действовало на нас, мальчиков, сильно возбуждающим образом, и, когда Александр II пустил нашу колонну в атаку, оставаясь впереди ее, мы едва не смяли его. Сомкнутые в ряды, с опущенными штыками, мы, должно быть, имели грозный вид; и я видел, как император, который все еще стоял пешим, тремя громадными скачками очистил путь для колонны. Я понял тогда, что

значит колонна, идущая сомкнутыми рядами, возбужденная музыкой и наступлением. Перед нами стоял император, наш военный начальник, к которому мы все относились с благоговением. Между тем я чувствовал, что ни один из нас не подвинулся бы на вершок и не остановился бы, чтобы дать ему дорогу. Мы составляли идущую колонну, он являлся препятствием, и колонна смяла бы его. В подобных случаях мальчишки с ружьями в руках еще страшнее старых солдат.

На следующий год, когда мы приняли участие в больших маневрах под Петербургом, я получил некоторое представление о том, что такое война. Два дня подряд мы только и делали, что двигались взад и вперед на протяжении каких-нибудь двадцати верст. Мы не имели ни малейшего представления о том, что делается кругом, ни о том, с какой целью мы двигаемся. Пушки гремели то возле нас, то где-то вдали. Порой в лесу и на холмах начиналась жаркая ружейная перестрелка. Ординарцы скакали и привозили приказы то наступать, то отступать. А мы все шли, шли и шли, не видя смысла в этом передвижении. Конница прошла той же дорогой и превратила ее в широкую реку зыбучего песка, по которому мы еле тащились взад и вперед. Наконец, всякая дисциплина порвалась в нашей колонне. Из стройного целого она превратилась в толпу усталых путников. По дороге шли одни знаменные унтер-офицеры; остальные же медленно плелись обочинами в лесу. Приказы и мольбы офицеров не приводили ни к чему.

Вдруг сзади донесся крик: «Государь едет!» Офицеры засуетились, умоляя нас построиться в ряды; но никто не слушался.

Прискакал император и приказал еще раз отступить.

– Налево кругом! – раздалась команда – Господа, государь позади. Пожалуйста, обернитесь! – шептали офицеры. Но батальон почти не обращал внимания ни на команду, ни на мольбы. К счастью, Александр II не был фронтовиком-фанатиком. Сказав несколько слов, чтобы ободрить нас, и обещав нам отдых, он ускакал.

Я понял тогда, как много в военное время зависит от духа армии и как мало можно сделать путем одной дисциплины, когда от солдат требуется больше, чем среднее усилие. Одной дисциплиной нельзя привести усталый отряд к определенному часу на поле битвы. Лишь энтузиазм и доверие могут в подобные минуты заставить солдат сделать невозможное. А для успеха на войне постоянно приходится выполнять «невозможное». Как часто впоследствии вспоминал я этот наглядный урок в Сибири, где во время научных экспедиций нам тоже приходилось все время выполнять невозможное.

Фронтное учение и маневры отнимали, однако, лишь небольшую часть лагерного времени. Мы много занимались практическими съемками и фортификацией. После нескольких предварительных упражнений нам давали буссоль и говорили: «Снимите план этого озера или парка с его дорогами. Измеряйте углы буссолью, а расстояние шагами».

Рано утром, позавтракав наскоро, юноша набивал свои просторные военные карманы ломтями черного хлеба и отправлялся на четыре – пять часов за несколько верст в парк. Он набрасывал на план прекрасные тенистые дороги, ручьи и озера. Работа его сравнивалась

впоследствии с точными картами и в виде награды по выбору юноши давались оптические инструменты или готовальни. Мне эта съемка доставляла невыразимое удовольствие. Независимый характер работы, одиночество под столетними деревьями, лесная жизнь, которой я мог отдаваться без помехи, оставили глубокий след в моей памяти. Была интересна и сама работа. Когда я впоследствии стал исследователем Сибири, а некоторые из моих товарищей – исследователями Средней Азии, мы нашли, что корпусные съемки послужили нам хорошей подготовительной школой.

В последнем классе три раза в неделю партии из четырех пажей отправлялись в деревни, лежащие на значительном расстоянии от лагеря. Там мы делали точные съемки при помощи мензулы и кипрегеля. Порой наезжали офицеры генерального штаба, чтобы проверить работы и подать кое-какие советы. Жизнь же среди крестьян, в деревенских избах, отлично влияла на наше умственное и нравственное развитие.

В то же время мы упражнялись в возведении в настоящую величину частей укреплений. Мы отправлялись офицерами в открытое поле, и здесь нам поручалось возвести разрез бастиона или сложного мостового укрепления. Мы сколачивали гвоздями дралицу и шести таким же образом, как делают инженеры, когда им нужно провесить новую железную дорогу. При постройке профилей барбетов и бойниц нам нужно было вычислять довольно много, чтобы определить наклон и сечения раз личных плоскостей, и после этого стереометрия уже не представляла для нас затруднений, а синусы и тангенсы получали вещественный, определенный смысл.

Работа так нравилась нам, что раз, уже в городе, найдя в саду кучи глины и щебня, мы принялись за постройку настоящего укрепления в уменьшенном виде. Барбетов, прямые и косые бойницы были тщательно вычислены. Все было сделано очень изящно. Мы мечтали теперь о том, как бы достать досок, чтобы сделать платформы для орудий и поставить на них модели пушек из нашей классной. Но, увы! наши панталоны были в плачевном состоянии!

– Что вы тут делаете! – кричал на нас капитан. Взгляните на себя! Вы похожи на землекопов (Этим именно мы и гордились теперь!) Что, если великий князь приедет и застанет вас в таком виде!

Мы покажем ему наше укрепление и попросим дать нам инструменты и доски для платформ.

Но напрасно мы протестовали. На другой день десяток работников свез тачками наше прекрасное укрепление, как будто бы оно было лишь кучей мусора!

Упоминаю об этом для того, чтобы показать, как детям и юношам хочется применить на практике приобретенные в школе знания и как ограничены те воспитатели, которые не могут воспользоваться этим стремлением для педагогических целей. В нашем корпусе все было, конечно, направлено к тому, чтобы пробудить военный дух, но мы с таким же увлечением прокладывали бы железную дорогу, строили избу или обрабатывали бы поле и огород. Стремление детей к живой, настоящей работе пропадает бесплодно, потому что в

школе господствует еще дух схоластики, завещанный средневековыми монастырями.

VIII. Распространение революционных идей. Отмена крепостного права.

Важные последствия освобождения крестьян

Годы 1857–1861 были, как известно, эпохой умственного пробуждения России. Все то, о чем поколение, представленное в литературе Тургеневым, Герценом, Бакуниным, Огаревым, Толстым, Достоевским, Григоровичем, Островским и Некрасовым, говорило шепотом, в дружеской беседе, начинало теперь проникать в печать. Цензура все еще свирепствовала; но чего нельзя было сказать открыто в политической статье, то проводилось контрабандным путем в виде повести юмористического очерка или в замаскированной критике западноевропейских событий. Все умели читать между строками и понимали, что означает, например, «Критика китайской финансовой системы».

У меня не было знакомых в Петербурге, кроме школьных, да тесного круга родных. Я стоял, таким образом, далеко в стороне от радикального движения того времени. Тем не менее (и это была, быть может, наиболее характерная черта движения) идеи проникали даже в такое благонамеренное училище, как наше, и отражались даже в кругу наших московских родственников.

Воскресенья и праздники я теперь проводил у моей тетки княгини Друцкой, о которой я упоминал уже выше. Князь Дмитрий Сергеевич Друцкой, мой дядя, думал только о необыкновенных завтраках и обедах, а княгиня и княжна проводили время очень весело. Моей двоюродной сестре шел двадцатый год. Она была очень хороша и привлекательна. Все двоюродные братья были влюблены в нее; она тоже полюбила одного из них – Ивана Ивановича Мусина-Пушкина – и хотела выйти за него замуж. Но венчать двоюродных – великий грех по законам православной церкви, и княгиня напрасно добивалась особого разрешения от высших представителей церковной иерархии. Теперь княгиня Друцкая привезла дочку в Петербург в надежде, что, быть может, она выберет среди бесчисленных поклонников более подходящего жениха, чем родного, двоюродного брата. Должен прибавить, что старания княгини ни к чему не привели, хотя в ее доме всегда было много блестящей гвардейской и дипломатической молодежи.

Можно было думать, что меньше всего революционные идеи проникнут в такой дом. А между тем именно там я впервые познакомился с революционной литературой. Герцен только что начал тогда издавать в Лондоне «Полярную Звезду», которая быстро и широко распространилась в публике и произвела смятение даже в придворных кругах. Моя двоюродная сестра Варенька Друцкая доставала эти книги, и мы обыкновенно читали их вместе. Сердце ее было возмущено препятствиями, которые мешали ее счастью, и тем

охотнее ее ум воспринимал герценовскую резкую критику самодержавия и подгнившей государственной системы. А я почти с молитвенным благоговением глядел на напечатанный на обложке «Полярной Звезды» медальон с изображением голов повешенных декабристов – Бестужева, Каховского, Пестеля, Рылеева и Муравьева-Апостола. Красота и сила творений Герцена, мощь размаха его мыслей, его глубокая любовь к России охватили меня. Я читал и перечитывал эти страницы, блещущие умом и проникнутые глубоким чувством. Тургенев правду сказал, что Герцен писал слезами и кровью, что с тех пор у нас никто так не писал.

Когда Саша прислал мне переписанное им «С того берега» Герцена, то я наизусть запомнил сейчас же целые страницы об июньских днях. Тетушка, видя, как я зачитываюсь «Полярной Звездой» и горячо говорю о Герцене, не раз с грустью замечала:

– Смотри, Петя, тебя так же повесят когда-нибудь, как и их!

В 1859 году или в начале 1860 года я стал издавать мою первую революционную газету. В том возрасте я мог быть, конечно, только конституционалистом, и я горячо доказывал в моей газете необходимость конституции для России. Я писал о безумных расходах двора, о суммах, затраченных в Ницце на ничего не делающую эскадру, сопровождавшую вдовствующую императрицу, которая умерла в 1860 году. Я упоминал о злоупотреблениях чиновников, о которых слышал постоянно, и доказывал необходимость правового порядка. Мою газету я переписал в трех экземплярах и подсунил их в столы товарищам старших классов, которые, по моим соображениям, должны были интересоваться общественными делами. Я просил читателей положить свои замечания за большими часами в нашей библиотеке.

С бьющимся сердцем вошел я на другой день в библиотеку, чтобы посмотреть, нет ли там чего для меня. Действительно, за часами лежали две записки. Два товарища писали, что вполне сочувствуют мне, и только советовали не рисковать слишком сильно. Я выпустил второй номер, еще более резкий. В нем я доказывал необходимость объединиться всем во имя свободы. На этот раз за часами ничего не было, но зато два товарища сами подошли ко мне.

– Мы убеждены, что газету издаете вы, – сказали они, – и пришли поговорить о ней. Мы с вами совершенно согласны и хотим сказать: «Будем друзьями». Но газету не следует издавать. Во всем корпусе всего еще два товарища, которых интересуют подобные вещи. Если же станет известно, что существует подобная газета, последствия для всех нас будут ужасны. Составим лучше кружок и станем говорить обо всем. Быть может, удастся убедить в чем-нибудь и других.

Все это было так разумно, что мне оставалось лишь согласиться, и мы скрепили союз сильным рукопожатием. С тех пор мы стали большими друзьями, много читали вместе и обсуждали различные вопросы.

Освобождение крестьян приковывало тогда внимание всех мыслящих людей.

Революция 1848 года глухо отразилась среди русских крестьян. С 1850 года бунты крепостных стали принимать очень серьезные размеры. Когда началась Крымская война и по всей России стали набирать ратников, возмущения крестьян распространились с невиданной до тех пор силой. Несколько помещиков было убито крепостными. Бунты приняли такой грозный характер, что для усмирения приходилось посылать целые полки с пушками, тогда как прежде небольшие отряды солдат нагоняли ужас на крестьян и прекращали возмущения.

Эти вспышки, с одной стороны, и глубокое отвращение к крепостному праву в том поколении, которое выдвинулось при вступлении на престол Александра II, с другой, сделали освобождение крестьян насущным вопросом. Александр II, ненавидевший сам крепостное право и поддерживаемый, точнее, побуждаемый в собственной семье женой, братом Константином и великой княгиней Еленой Павловной, сделал первый шаг в этом направлении. Он хотел, чтобы инициатива реформы исходила от самих помещиков. Но ни в одной губернии нельзя было убедить помещиков подать подобный адрес государю. В марте 1856 года Александр II сам обратился к московскому дворянству с речью, в которой доказывал необходимость реформы; но ответом было упорное молчание. Александр II рассердился тогда и закончил речь памятными словами Герцена: «Лучше, господа, чтобы освобождение пришло сверху, чем ждать, покуда оно придет снизу». Но даже и эти слова не подействовали.

Почин был сделан наконец литовскими губерниями: Гродненской, Виленской и Ковенской, в которых Наполеон уничтожил в 1812 году (на бумаге) крепостное право. Генерал-губернатору Назимову удалось убедить литовское дворянство подать желаемый адрес, и в ноябре 1857 года был опубликован знаменитый рескрипт на имя виленского генерал-губернатора, в котором Александр II выражал намерение освободить крестьян. Со слезами на глазах читали мы знаменитую статью Герцена: «Ты победил, галилеянин». Лондонские изгнанники заявляли, что отныне не считают Александра II врагом, а будут поддерживать его в великом деле освобождения крестьян.

Отношение крестьян было в высшей степени замечательно. Как только разнеслась весть, что страстно желанную волю скоро дадут, восстания почти совершенно прекратились. Крестьяне ждали. Когда Александр II объезжал среднюю Россию, они окружали его и умоляли дать волю, но к этим повторявшимся просьбам Александр относился недружелюбно. Любопытно, однако, до какой степени сильна традиция Великой революции: среди крестьян шел слух, что Наполеон III при заключении мира после Севастопольской войны потребовал от Александра II дать волю. Я часто слышал это. Даже накануне освобождения крестьяне сомневались, чтобы волю дали без давления извне. «Если Гарибалка не придет, ничего не будет», – говорил как-то в Петербурге один крестьянин моему товарищу, который толковал ему, что скоро «дадут волю». И так думали многие[9].

За моментом всеобщей радости последовали, однако, годы тревог и сомнений. В губерниях и в Петербурге работали специально избранные комитеты; но Александр II, по-видимому, колебался. Цензура следила особенно строго за тем, чтобы печать не обсуждала вопроса об освобождении крестьян в подробностях. Мрачные слухи ходили по Петербургу и достигали до нашего корпуса.

Среди дворянства не было недостатка в молодых людях, которые искренно работали для полного освобождения крестьян. Но партия крепостников все более и более тесным кольцом окружала Александра II и оказывала на него давление. Крепостники нашептывали, что в день освобождения крестьян начнется всеобщее избиение помещиков и что Россию тогда ждет новая пугачевщина еще страшнее 1773 года. Александр II был человек слабохарактерный и прислушивался к подобным зловещим предсказаниям. Но громадная машина для выработки «Положения» была уже пущена в ход. Комитеты заседали. Десятки записок с проектами освобождения крестьян посылались царю, ходили в рукописи или же печатались в Лондоне. Герцен при содействии Тургенева, уведомлявшего его о положении дел, обсуждал подробности каждого проекта в «Колоколе» и «Полярной Звезде». То же делал и Чернышевский в «Современнике». Славянофилы с своей стороны, особенно Аксаков и Беляев, воспользовались сравнительным облегчением печати, чтобы дать мысли об освобождении крестьян широкое распространение. Они тоже с большим знанием технической стороны дела во всех подробностях обсуждали, как совершить освобождение. Весь образованный Петербург соглашался с Герценом и в особенности с Чернышевским. Я помню, как стояли за него даже конногвардейские офицеры, которых я видел по воскресеньям, после церковного парада, у моего двоюродного брата Дмитрия Николаевича Кропоткина, полкового адъютанта и флигель-адъютанта. Настроение Петербурга в гостиных и на улице показывало, что идти назад теперь уже невозможно. Освобождение крестьян должно было быть выполнено. Отвоеван был и другой очень важный пункт, именно освобождение с землей.

Но партия крепостников не теряла надежды. Она добивалась отсрочки реформы, уменьшения наделов и такой высокой выкупной платы за землю, которая делала бы экономическую независимость призраком. И в этом крепостники вполне успели. Александр II отстранил Николая Милютина (брата военного министра), являвшегося душой дела.

– Мне крайне жаль расстаться с вами, – сказал он, – но я должен: дворянство называет вас «красным».

Комитеты первого созыва, выработавшие проект освобождения крестьян, были распущены. Новые комитеты пересматривали теперь весь план в интересах крепостников. Печати опять зажали рот.

Дела принимали, таким образом, мрачный характер. Теперь уже возникал вопрос, состоится ли освобождение? Я лихорадочно следил за борьбой и по воскресеньям, когда товарищи возвращались в корпус, спрашивал их, что говорят их родители. Осенью 1860 года вести стали все хуже и хуже. «Партия Валуева одержала верх». «Они хотят пересмотреть заново все дело». «Родственники княжны Долгорукой (приятельницы царя) сильно влияют на государя». «Освобождение крестьян отложено: боятся революции».

В январе 1861 года стали, впрочем, доходить несколько более утешительные слухи. Все надеялись теперь, что 19 февраля, в день вступления Александра на престол, будет объявлен какой-то манифест об освобождении.

Наступил и этот день, но он не принес ничего. В этот день я был во дворце, где вместо большого был лишь малый выход. Пажей второго класса посылали на такие выходы, чтобы приучать к придворным порядкам, и девятнадцатого была моя очередь. Я сопровождал одну из великих княгинь при выходе из церкви, а так как ее муж не показывался, то она меня попросила найти его. Его вызвали из кабинета императора, и я в полушутливом тоне сказал великому князю о том, как беспокоится его жена. Я не подозревал даже, какой важный вопрос обсуждали в тот момент в кабинете. Кроме нескольких посвященных, никто во дворце не знал, что манифест подписан 19 февраля. Его держали в секрете две недели только потому, что через неделю, 26 февраля, начиналась масленица. Боялись, что в деревнях пьянство в эти дни вызовет бунты. Даже масленичные балаганы перевели в этом году с Дворцовой площади на Марсово поле, подальше от дворца, из опасения народного восстания. Войскам были даны самые строгие инструкции, каким образом усмирять беспорядки.

Через две недели, утром 5 марта, в последний день масленицы, я был в корпусе, так как в полдень должен был идти на развод в Михайловский манеж. Я лежал еще в постели, когда мой денщик Иванов вбежал с чайным подносом в руках и воскликнул:

– Князь, воля! Манифест вывешен в Гостином дворе (напротив корпуса).

– Ты сам видел манифест?

– Да. Народ стоит кругом. Один читает, а все слушают. Воля!

Через две минуты я уже оделся и был на улице.

– Кропоткин, воля! – крикнул входивший в корпус товарищ. – Вот манифест. Мой дядя узнал вчера, что его будут читать за ранней обедней в Исаакиевском соборе. Народа было немного, одни мужики. После обедни прочитали и раздали манифест. Крестьяне хорошо поняли его значение. Когда я выходил из собора, много мужиков стояло на паперти. Двое из них, в дверях, так смешно мне сказали: «Что, барин? Теперь фюить!»

Товарищ мимикой передал, как мужики указали ему дорогу. Годы томительного ожидания сказались в этом жесте выпроваживания барина. Я читал и перечитывал манифест. Он был составлен престарелым московским митрополитом Филаретом напыщенным языком. Церковнославянские обороты только затемняли смысл.

Но то была воля, без всякого сомнения, хотя не немедленная. Крестьяне оставались крепостными еще два года, до 19 февраля 1863 года; тем не менее ясно было одно: крепостное право уничтожено, и крестьяне получают надел. Им придется выкупать его, но пятно рабства смыто. Рабов больше нет. Реакции не удалось одержать верх.

Мы отправились на развод. Когда военная церемония кончилась, Александр II, который все еще продолжал сидеть на коне, громко крикнул: «Господа офицеры, ко мне!» Офицеры окружили царя, и он громко начал речь о великом событии дня.

- Господа офицеры... Представители дворянства в армии... - долетели до нас отрывки речи.
- Положен конец вековой несправедливости... Я жду жертв от дворянства... Благородное дворянство сомкнется вокруг престола...

И так далее. Когда Александр кончил, ему ответили восторженными криками ура!

Назад мы скорее добежали, чем дошли до корпуса. Мы спешили в итальянскую оперу на последний в сезоне сборный дневной спектакль. Не подлежало сомнению, что будут какие-нибудь манифестации. Поспешно сбросили мы военную амуницию, и я с несколькими товарищами помчался в театр, на галерею шестого яруса. Театр был переполнен.

Во время первого же антракта курильная наполнилась возбужденной молодежью. Знакомые и незнакомые восторженно обменивались впечатлениями. Мы тут же порешили возвратиться в зал и запеть всем вместе «Боже, царя храни!».

Но вот донеслись звуки музыки, и мы поспешили обратно в зал. Оркестр играл уже гимн; но звуки его скоро стали утопать в криках «ура!» всех зрителей! Я видел, как дирижер Бавери махал палочкой, но не мог уловить ни одного звука громадного оркестра. Бавери кончил, но восторженные крики «ура!» не прекращались. Он снова замахал палочкой; я видел движение смычков, видел, как надувались щеки музыкантов, игравших на медных инструментах, но восторженные крики опять заглушали музыку. Бавери в третий раз начал гимн. И только тогда, к самому концу, отдельные звуки медных инструментов стали порой прорезывать гул человеческих голосов.

Такие же восторженные сцены повторялись и на улицах. Толпы крестьян и образованных людей стояли перед Зимним дворцом и кричали «ура!». Когда царь показался на улице, за его коляской помчался ликующий народ. Герцен был прав, сказавши два года спустя, когда Александр II топил польскую революцию в крови, а Муравьев-вешатель душил ее на эшафоте: «Александр Николаевич, зачем вы не умерли в этот день? Вы остались бы героем в истории!»

Где же были восстания, предсказанные крепостниками? Трудно было придумать состояние более неопределенное, чем то, которое вводило «Положение». Если что-нибудь могло вызвать мятежи, то именно запутанная неопределенность условий, созданная законом. А между тем, кроме двух мест, где были возмущения, да небольших беспорядков, кое-где созданных главным образом непониманием, вся Россия оставалась спокойной - более спокойной, чем когда-либо. С обычным здравым смыслом крестьяне поняли, что крепостному праву положен конец, что пришла воля.

Я посетил Никольское в августе 1861 года, а затем снова летом 1862 года и был поражен тем, как разумно и спокойно приняли крестьяне новые условия. Они знали очень хорошо, как тяжело будет платить выкуп, который являлся в сущности вознаграждением за даровой труд отобранных душ; но они так высоко ценили свое личное освобождение от рабства, что приняли даже такие разорительные условия. Правда, делалось это не без ропота, но крестьяне покорились необходимости. В первые месяцы они праздновали по два дня в неделю, уверяя, что грех работать по пятницам; но когда наступило лето, они принялись за

работу еще с большим усердием, чем прежде.

Когда я увидел наших николевских крестьян через пятнадцать месяцев после освобождения, я не мог налюбоваться ими. Врожденная доброта их и мягкость остались, но клеймо рабства исчезло. Крестьяне говорили со своими прежними господами как равные с равными, как будто бы никогда и не существовало иных отношений между ними. К тому же из крестьян уже выделились такие личности, которые могли постоять за их права. «Положение» было большой и тяжело написанной книгой. Я затратил немало времени, покуда понял ее. Но когда раз николевский староста Василий Иванов пришел ко мне с просьбой объяснить ему одно темное место в «Положении», я убедился, что он отлично разобрался в запутанных главах и параграфах, хотя и читал-то далеко не бойко.

Хуже всего было дворовым. Они не получили надела да и вряд ли знали бы, что делать с ним, если бы получили. Дворовым дали свободу и ничего больше. В нашей округе почти все они оставили своих прежних господ, у моего отца, например, никто не остался. Они разбрелись в поисках занятий. Многие нашли сейчас же места у купцов, которые гордились тем, что у них служит кучер князя такого-то или повар генерала такого-то. Знавшие какое-нибудь ремесло находили работу в городе. Так, например, оркестр моего отца так и остался оркестром, хорошо зарабатывал в Калуге и поддерживал дружелюбные отношения с нашим домом. Приходилось плохо тем, которые не знали никакого ремесла. А между тем большинство их предпочитало лучше перебиваться кое-как, чем оставаться у прежних господ.

Что касается помещиков, то крупные землевладельцы все пустили в ход в Петербурге, чтобы возобновить крепостное право под каким-нибудь новым названием (отчасти они и успели в этом при Александре III), но большая часть остальных помещиков покорилась реформе как неминуемому бедствию. Молодое поколение дало России тех замечательных мировых посредников, а впоследствии мировых судей, которые содействовали так много мирному проведению эмансипации. Люди же старого поколения только мечтали заложить выкупные свидетельства (земля была оценена гораздо выше ее стоимости) и соображали, как прокутить эти деньги в ресторанах или же пустить на зеленое поле. И действительно, большинство из них прокутили или проиграли выкупные деньги, как только получили их.

Для многих помещиков освобождение крестьян оказалось в сущности выгодной сделкой. Так, например, та земля, которую отец мой, предвидя освобождение, продавал участками по одиннадцати рублей за десятину, крестьянам ставилась в сорок рублей, то есть в три с половиной раза больше. Так было везде в нашей округе. В тамбовском же степном имении отца мир снял всю землю на двенадцать лет, и отец получал вдвое больше, чем прежде, когда землю обрабатывали ему крепостные.

Лет десять после этого памятного дня я попал в тамбовское имение, которое досталось мне по наследству от отца. Я прожил там несколько недель. Вечером, после моего отъезда, наш молодой священник, умный, независимого образа мыслей (такие иногда встречаются в южных губерниях), вышел погулять. Закат солнца был великолепный. Из степи тянул напоенный ароматом ветерок. За деревней, на пригорке, он нашел не очень старого крестьянина Антона Савельева, который читал псалтырь. Крестьянин с трудом разбирал по

складам церковную печать и часто читал книгу, начиная с последней страницы. Ему нравился больше всего процесс чтения; затем какое-нибудь слово поражало его, и ему было приятно повторение этого слова; теперь он читал 106-й псалом, где часто повторяется «радуюсь я».

– Что вы читаете, Антон Савельевич? – спросил священник.

– А вот, батюшка, расскажу вам. Четырнадцать лет тому назад приехал сюда старый князь. Была зима. Я только что вернулся домой с работы и совсем замерз. Кружила метель. Только стал я раздеваться – слышу староста стучит в окно и кричит: «Ступай к князю; он тебя требует!» Тут мы все, моя баба и ребятишки, перепугались. «Зачем это ты понадобился князю?» – переполошилась моя хозяйка. Я перекрестился и пошел. Как переходил плотину, метель мне все глаза совсем залепила. Ну, обошлось все благополучно. Старый князь спал после обеда, прождал я часа два в передней, а когда выспался князь, то только спросил меня:

– А что, Антон Савельев, умеешь штукатурить?

– Умею, ваше сиятельство.

– Ну, так приходи завтра, поправишь штукатурку в этой комнате.

– Пошел я домой совсем веселый. Только прихожу на плотину – вижу, хозяйка моя стоит. Все время, в метель, простояла она с дитей на руках меня дожидалась.

– Что такое, Савельич? – спрашивает.

– Ничего, – говорю я, – все благополучно, штукатурку звал поправить.

– Так вот, батюшка, как оно было при старом князе. А теперь вот приехал молодой князь, пошел я на него посмотреть. Сидит он в саду, в холодке, около дома, чай пьет. Вы, батюшка, сидите с ним, и волостной старшина с медалью тут же.

– Хочешь чаю, Савельич? – спрашивает князь. – Подсаживайся. Дай ему стул, Петр Григорьевич. И Петр Григорьевич – уж каким сатаной был он для нас, когда служил управляющим у старого князя, – несет стул! Сели мы за стол, калякаем, а он всем чай наливает.

– Ну, батюшка, сегодня такая благодать, вечер хороший, со степи воздух несет такой легкий, так вот я сижу и читаю: «Радуюсь я! Радуюсь я!»

Вот что означала воля для крестьян!

IX. Жизнь при дворе. Система шпионства во дворце. Александр II. Мария Александровна. Великие князья

В июне 1861 года я был произведен в фельдфебели Пажеского корпуса. Должен сознаться, что некоторым из наших офицеров это не нравилось. Они говорили, что с таким фельдфебелем не будет никакой дисциплины. Но они ничего не могли поделать. Обыкновенно фельдфебелем назначался первый ученик старшего класса, а я был первым уже несколько лет. Такое назначение считалось крайне завидным не только потому, что фельдфебель занимал особое положение в корпусе и пользовался преимуществами офицера, но также потому, что он в то же время был камер-пажем императора. Таким образом, он становился лично известен государю, что считалось, конечно, важным шагом в дальнейшей карьере.

Для меня важнее всего было то, что производство избавляло меня от тяжелой повинности дежурств в самом корпусе, которая выпадала на долю камер-пажей, и что отныне я буду иметь для моих занятий отдельную комнату, куда могу удалиться от школьного гама. Правда, была и обратная сторона медали. Я всегда находил скучным ходить мерным шагом по комнатам и предпочитал лучше мчаться бегом, что было строго воспрещено. Теперь уже нельзя будет промчаться через все залы, а придется чинно шагать с дежурной книгой подмышкой! По этому важному поводу было даже совещание моих приятелей, но они решили, что время от времени я все-таки смогу позволить себе пробежаться, и что касается до моих отношений с другими воспитанниками, то от меня самого зависит установить их на товарищескую ногу. Что я и сделал.

Камер-пажи часто бывали во дворце на больших и малых выходах, на балах, приемах, парадных обедах и т. д. Во время Рождества, Нового года и Пасхи нас требовали во дворец почти каждый день, а иногда и по два раза в день. Кроме того, как фельдфебель, я каждое воскресенье должен был докладывать царю на разводе, что «по роте Пажеского корпуса все обстоит благополучно», даже если треть воспитанников была больна. «Докладывать ли сегодня, что не все обстоит благополучно?» – спросил я раз полковника, когда чуть не полкорпуса переболело какую-то болезнью. «Боже сохрани! – ужаснулся он. – Так докладывать можно только, если в корпусе случится бунт».

В придворной жизни, без сомнения, много живописного. Элегантная утонченность манер (хотя, быть может, и поверхностная), строгий этикет, блестящая обстановка, несомненно, производят впечатление. Большой выход красивое зрелище. Даже простой прием у императрицы нескольких дам резко отличается от обыкновенного визита. Прием происходит в великолепной зале, гости вводятся камергерами в расшитых золотом мундирах, за императрицей следуют великолепно одетые пажи и фрейлины, – и все выполняется с особой торжественностью. Быть действующим лицом в придворной жизни для мальчика моих лет, конечно, было больше чем любопытно. К тому же нужно сказать, что

на Александра II я тогда смотрел как на героя рода; он не придавал значения придворным церемониям, начинал тогда работать в шесть часов утра и упорно боролся с реакционной партией, чтобы провести ряд реформ, в ряду которых освобождение крестьян составляло лишь первый шаг.

Но по мере того как я присматривался к этой стороне придворной жизни и время от времени видел мельком, что творится за кулисами, я убедился в ничтожности этих церемоний, которыми лишь слабо прикрывается то, что желают скрыть от толпы. Больше того, я убедился, что эти мелочи до такой степени поглощают внимание двора, что препятствуют видеть явления первой важности, и что из-за театральности часто забывается действительность. Мало-помалу стал тускнеть также и тот ореол, которым я окружал Александра. И если бы я когда-нибудь лелеял иллюзию насчет деятельности в придворных сферах, она исчезла бы к концу первого же года.

В большие праздники, а также в царские дни во дворце бывал большой выход. Тысячи офицеров, от генералов до капитанов, а также высшие гражданские чиновники выстраивались в громадных залах дворца, чтобы отвесить низкий поклон, когда император с семьей торжественно проследуют в церковь. Все члены императорской фамилии собирались для этого в гостиной и весело болтали, пока не наступал момент надеть маску торжественности. Затем процессия выстраивалась. Император подавал руку императрице и шел впереди. За ним следовал его камер-паж, а за ним дежурный генерал-адъютант и министр двора. За императрицей или, точнее, за бесконечным шлейфом ее платья шли два камер-пажа, поднимавшие этот шлейф на поворотах и потом расправлявшие его во всей красе. Далее шли: наследник, которому тогда было лет восемнадцать, великие князья и княгини, согласно порядку престолонаследия. За каждой из великих княгинь следовал ее камер-паж. Далее тянулась длинная вереница старых и молодых статс-дам и фрейлин в так называемых русских костюмах, то есть в бальном платье, которое почему-то предполагалось похожим на сарафан.

Когда процессия проходила, я мог наблюдать, как каждый из высших военных и гражданских чиновников, прежде чем отвесить свой поклон, старался украдкой уловить взгляд царя. И если тот отвечал кому-нибудь на поклон улыбкой, одним или двумя словами или даже чуть заметным кивком, то преисполненный гордости счастливец оглядывал соседей, ожидая от них поздравлений.

Из церкви процессия возвращалась в том же порядке. Затем каждый спешил по своим собственным делам. Кроме немногих фанатиков придворного этикета да молодых дам, большинство присутствовавших считали выходы скучной барщиной.

Два или три раза в зиму во дворце давались большие балы, на которые приглашались тысячи гостей. После того как император открывал танцы полонезом, каждому представлялось веселиться как угодно. В бесконечных, блестяще освещенных залах было сколько угодно места молодым девушкам укрыться от бдительного глаза маманек и тетюшек. Молодежь веселилась во время танцев, а за ужином всегда как-то выходило так, что молодые пары усаживались вдали от стариков.

Моя служба на балах была не из легких. Александр II не танцевал и не сидел, а все время ходил между гостей. Камер-пажу приходилось идти на некотором расстоянии от царя так, чтобы не торчать слишком близко и вместе с тем быть под рукой, чтобы явиться немедленно на зов. Это сочетание присутствия с отсутствием давалось нелегко. Не требовал его и император: он предпочел бы, чтобы его оставили одного, но таков уже был обычай, которому царю приходилось подчиниться. Хуже всего было, когда Александр II входил в толпу дам, стоявших вокруг танцующих великих князей, и медленно двигался там. Не особенно легко было пробираться среди этого живого цветника, который расступался, чтобы дать дорогу царю, но сейчас же замыкался за ним. Сотни дам и девиц не танцевали, а стояли тут же в надежде, что, быть может, кто-нибудь из великих князей заметит их и пригласит на польку или на тур вальса.

О влиянии двора на петербургское общество можно судить по следующему. Если родители замечали, что какой-нибудь великий князь обратил внимание на их дочь, они прилагали все старания, чтобы девушка влюбилась в высокую особу, хотя отлично знали, что дело не может кончиться браком. Я не мог бы даже представить себе тех разговоров, которые услышал раз в «почтенной» семье, после того как наследник два или три раза потанцевал с молодой семнадцатилетней девушкой. По этому поводу родители ее строили различные, блестящие, по их мнению, планы.

Каждый раз, когда мы бывали во дворце, мы обедали и завтракали там. Придворные лакеи тогда рассказывали нам – желали мы их слушать или нет скандальную придворную хронику. Они знали решительно все, что происходило во дворцах. То была их среда. В интересах истины должен сказать, что в тот год, о котором я говорю, скандальная хроника была беднее событиями, чем в семидесятых годах. Братья Александра II тогда только что женились, а сыновья его были еще слишком молоды. Но об отношениях императора к княжне Долгорукой, которую Тургенев так хорошо обрисовал в «Дыме» под именем Ирины, во дворце говорили еще более открыто, чем в петербургских салонах. Раз, когда мы вошли в комнату, где переодевались всегда, нам сообщили, что «княжна Долгорукая сегодня получила отставку, на этот раз полную». Полчаса спустя я увидел княжну Долгорукую. Она явилась в церковь с распухшими от слез глазами. Все время службы она глотала слезы. Остальные дамы держались поодаль от несчастной, как бы для того, чтобы ее лучше видели. Прислуга уже вся знала про событие и обсуждала его на свой собственный лад. Было нечто отвратительное в толках этих людей, которые за день до того пресмыкались перед этой самой дамой.

Система шпионства, практикующаяся во дворце, а в особенности вокруг самого императора, покажется совершенно невероятной непосвященным, но следующий случай даст о ней некоторое представление. В семидесятых годах один из великих князей получил хороший урок от одного петербуржца. Последний запретил великому князю приезжать в его дом. Раз, возвратившись неожиданно и найдя великого князя в гостиной, он бросился на него с палкой. Молодой человек бегом спустился с лестницы и, было, уже совсем успел вскочить в карету, когда преследующий настиг его и ударил палкой. Околоточный, который стоял у подъезда, побежал с докладом к обер-полицеймейстеру Трепову, а этот, в свою очередь, вскочил в дрожки и помчался к государю, чтобы раньше всех отрапортовать о «прискорбном случае». Александр II вызвал великого князя и переговорил с ним. Дня два спустя один

старый чиновник, служивший в Третьем отделении, передавал в доме моего товарища, где он был свой человек, весь разговор между царем и великим князем.

– Государь был очень сердит, – сообщил им чиновник, – и сказал в конце концов великому князю: «И как это вы своих дел не умеете устраивать!»

Чиновника спросили, конечно, как он может знать о беседе с глазу на глаз, и его ответ был очень характерен:

– Слова и мнения его величества должны быть известны нашему отделению. Разве иначе можно было бы вести такое важное учреждение, как государственная полиция? Могу вас уверить, что ни за кем так внимательно не следят в Петербурге, как за его величеством.

В этих словах не было хвастовства. Каждый министр, каждый генерал-губернатор, прежде чем войти с докладом в кабинет к царю, справлялся тогда предварительно у камердинера царя, в каком расположении духа сегодня его величество. Сообразно с ответом министр или докладывал императору о каком-нибудь щекотливом деле, или же держал его в портфеле до более благоприятного момента. Когда в Петербург приезжал генерал-губернатор Восточной Сибири, он всегда посылал своего личного адъютанта к камердинеру с хорошим подарком. «Бывают дни, – говорил генерал-губернатор, – когда государь пришел в бешенство и отдал бы под суд всех, и меня в том числе, если бы я доложил ему о некоторых делах, но бывают также дни, когда все сходит гладко. Золотой человек этот камердинер». Знать изо дня в день о настроении духа императора считалось необходимым для тех, которые желали удержаться на высоком посту. Это искусство впоследствии в совершенстве постигли граф Шувалов и Трепов, а также граф Н. П. Игнатъев. Впрочем, насколько я знаю его, Игнатъев сумел бы обойтись и без камердинера.

В начале моей службы я относился восторженно к Александру II как к царю-освободителю. Воображение часто уносит мальчика далеко за пределы действительности, и мое чувство тогда было таково, что, если бы в моем присутствии кто-нибудь свершил покушение на царя, я бы грудью закрыл Александра II.

Раз, в начале января 1862 года, я увидел, что Александр II вышел из процессии и один направился в залы, где были выстроены для парада отряды от всех полков петербургского гарнизона. Этот парад обыкновенно происходил на площади, но в тот день, по случаю сильного мороза, он должен был состояться в залах. Александру II предстояло, таким образом, пройти пешком перед войсками, вместо того чтобы проскакать перед ними галопом. Я знал, что мои придворные обязанности кончаются, как только император выступает как командующий войсками, и что я должен идти за ним только до тех пор, но не дальше. Оглянувшись, однако, я увидел, что он остался совершенно один. Флигель-адъютант и генерал-адъютант куда-то исчезли.

Не знаю, спешил ли Александр II в тот день или имел какие-нибудь другие причины желать, чтобы парад скорее кончился, но он буквально промчался перед рядами. Он делал такие быстрые и большие шаги (он был очень высок ростом), что я должен был идти самым скорым шагом, а порой даже бегом. Он спешил так, как будто бы убегал от опасности. Его

возбуждение передалось и мне, и ежеминутно я готов был броситься вперед, жалея лишь о том, что при мне не моя собственная шпага с толедским клинком, который пробивал пятаки, а обыкновенное форменное оружие. Александр II замедлил шаг лишь тогда, когда прошел перед последним полком. Выходя в другой зал, он оглянулся и встретился с моим взглядом, блестящим от возбуждения и быстрой ходьбы. Младший флигель-адъютант мчался бегом две залы позади нас. Я приготовился выслушать строгий выговор, но вместо этого Александр II, быть может, обнаруживая мысли, которые занимали его тогда, сказал мне: «Ты здесь молодец!» И, медленно удаляясь, он впери́л в пространство тот неподвижный, загадочный взгляд, который все чаще и чаще я стал замечать у него.

Таков был тогда мой образ мыслей. Но ряд мелких случаев, а также реакционный характер, который все более и более принимала политика Александра II, стали поселять сомнения в моем сердце. Ежегодно 6 января, как известно, происходит полухристианский-полуязыческий обряд освящения воды на иордани. Он также соблюдается при дворе. На Неве, против дворца, сооружается павильон. Императорская фамилия, предшествуемая духовенством, идет из дворца поперек великолепной набережной к павильону, где после молебствия крест погружается в воду. Тысячи народа на набережной и на льду следят издали за церемонией. Все, конечно, стоят без шапок во время молебствия. В тот год был очень сильный мороз, и один старый генерал надел из предосторожности парик; но когда старик, пред выходом на улицу, поспешно накидывал в передней шинель, то не заметил, как парик его был сбит на сторону и посажен пробором поперек. Константин Николаевич увидел это и во все время службы пересмеивался с молодыми великими князьями. Все они смотрели на генерала, который глупо ухмылялся, не понимая, чем он мог вызвать такое веселье. Константин наконец шепнул брату, который тоже взглянул на генерала и рассмеялся.

Несколько минут спустя, когда процессия на обратном пути опять была на набережной, старый крестьянин протолкался сквозь двойную цепь солдат, стоявших вдоль пути, и упал на колени перед царем, держа вверх прошение.

– Батюшка-царь, заступись! – крикнул он со слезами, и в этом восклицании сказалось все вековое угнетение крестьян. Но Александр II, смеявшийся за несколько минут пред тем по поводу съехавшего набок парика, прошел теперь мимо, не обратив даже внимания на мужика. Я шел за Александром и заметил в нем только легкое содрогание испуга, когда мужик внезапно появился и упал перед ним. Затем он прошел, не удостоив даже взглядом человека, валявшегося в его ногах. Я оглянулся. Флигель-адъютанта не было. Константин, который шел за нами, так же не обратил внимания на просителя, как и его брат. Не было никого, кто бы мог принять бумагу. Тогда я взял ее, хотя знал, что мне сделают за это выговор: принимать прошения было не моим делом; но я вспомнил, сколько должен был перенести мужик, покуда добрался до Петербурга, а затем пока пробрался сквозь ряды полиции и солдат. Как и все крестьяне, подающие прошение царю, мужик рисковал попасть в острог, кто знает на какой срок.

В день освобождения крестьян Александра II боготворили в Петербурге; но замечательно то, что, помимо этого момента энтузиазма, его не любили в столице. Брат его Николай Николаевич неведомо почему был очень популярен среди мелких лавочников и извозчиков.

Но ни Александр II, ни Константин, вождь партии реформ, ни Михаил не пользовались особою любовью ни одного класса из населения столицы. Александр II унаследовал от отца много черт деспота, и они просвечивали иногда, несмотря на обычное добродушие его манер. Он легко поддавался гневу и часто обходился крайне пренебрежительно с придворными. Ни в вопросах политики, ни в личных симпатиях он не был человеком, на которого можно было положиться, и вдобавок отличался мстительностью. Сомневаюсь, чтобы он искренно был привязан к кому-нибудь. Окружали его и были близки ему порой люди совершенно презренные, как, например, граф Адлерберг, за которого Александр II постоянно платил долги; другие же прославились колоссальным воровством. Уже с 1862 года можно было опасаться, что Александр II вновь вступит на путь реакции. Правда, было известно, что он хочет преобразовать суд и армию, что ужасное телесное наказание отменяется и что России дадут местное самоуправление, а может быть, какой-нибудь вид конституции, но малейшие беспорядки подавлялись по его приказанию с беспощадной строгостью. Каждое такое возмущение он принимал за личное оскорбление. В силу этого постоянно можно было ждать от Александра II самых реакционных мер. Студенческие беспорядки в октябре 1861 года в Университетах Петербургском, Московском и Казанском подавлялись с возрастающей строгостью. Петербургский Университет закрыли, закрыли также вольные курсы, начатые многими профессорами в городской думе, и лучшие профессора, как Стасюлевич и Костомаров, должны были выйти в отставку. Затем, вскоре после освобождения крестьян, началось сильное движение для основания воскресных школ. Они открывались частными лицами и учреждениями; все учителя, конечно, занимались безвозмездно, и в числе учителей были офицеры, студенты и даже несколько пажей. Крестьяне и работники, старые и молодые, устремились в эти школы, и скоро выработался такой метод, что в девять-десять уроков мы выучивали крестьян читать. В этих школах в несколько лет без всяких расходов со стороны правительства большинство крестьян научилось бы грамоте. Но внезапно все воскресные школы были закрыты. В Польше, где начались патриотические манифестации, арестовали сотни людей в церквях и казаки с обычной жестокостью разгоняли толпу нагайками. В конце 1861 года в Варшаве на улице даже стреляли по народу, и несколько человек было убито, а в конце декабря или первых числах января 1862 года начались казни. При усмирении же немногих крестьянских беспорядков вновь ввели «прогнание сквозь строй» – любимое наказание Николая I. Таким образом, уже в 1862 году можно было опасаться, что Александр II станет тем деспотом, каким он действительно проявил себя позже, в семидесятых годах.

Из всей императорской фамилии, без сомнения, наиболее симпатичной была императрица Мария Александровна. Она отличалась искренностью, и когда говорила что-либо приятное кому, то чувствовала так. На меня произвело глубокое впечатление, как она раз благодарила меня за маленькую любезность (после приема посланника Соединенных Штатов). Так не благодарит женщина, привыкшая к придворной лести. Она, без сомнения, не была счастлива в семейной жизни. Не любили ее также и придворные дамы, находившие ее слишком строгой: они не могли понять, отчего это Мария Александровна так близко принимает к сердцу «шалости» мужа. Теперь известно, что Мария Александровна принимала далеко не последнее участие в освобождении крестьян. Но тогда про это мало знали. Вождями партии реформы при дворе считались великий князь Константин и великая княгиня Елена Павловна, главная покровительница Николая Милютина в высших сферах. Больше знали о том деятельном участии, которое принимала Мария Александровна в

учреждении женских гимназий. С самого начала, в 1859 году, они были поставлены очень хорошо, с широкой программой и в демократическом духе. Ее дружба с Ушинским спасла этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени, то есть от ссылки.

Мария Александровна сама получила хорошее образование и хотела дать такое же своему старшему сыну. С этой целью она пригласила в преподаватели лучших специалистов в различных областях знания, в том числе Кавелина, хотя она и знала о дружбе его с Герценом. Когда Кавелин упомянул ей про это, Мария Александровна ответила, что сердита на Герцена только за резкие отзывы о вдовствующей императрице.

Наследник был необыкновенно красив, быть может даже слишком женствен. Он ничуть не был горд и во время выходов приятельски болтал с камер-пажами. (Помню даже, что во время новогоднего приема дипломатического корпуса я пытался объяснить ему, насколько просто одетый посланник Соединенных Штатов Уашберн выгодно отличается от разряженных, как попугаи, остальных посланников.) Но те, которые хорошо знали наследника, совершенно верно отзывались о нем как о глубоком эгоисте, совершенно неспособном душевно привязаться к кому-нибудь. Что касается учения, то все старания матери пропали даром. В августе 1861 года наследник окончательно провалился на экзаменах, происходивших в присутствии отца. Помню даже, как через несколько дней после этого провала, на параде в Петергофе, на котором командовавший наследник сделал какую-то ошибку, Александр крикнул ему громко, так что все слышали: «Даже этому не можешь научиться!» Как известно, наследник умер двадцати двух лет от болезни спинного мозга.

Александр Александрович, ставший наследником в 1865 году, являлся полной противоположностью брату. Он так напоминал мне лицом и сознанием своего величия Павла I, что я часто говорил: «Если Александр когда-нибудь вступит на престол, то будет другим Павлом I в Гатчине и примет такую же смерть от своих придворных, как прадед его». Он упорно не хотел ничему учиться. Говорили, что Александр II нарочно не учил второго сына, а сосредоточивал все внимание на наследнике, так как пережил сам немало неприятных минут, вследствие того, что Константин был образованнее его. Сомневаюсь, однако, чтобы это было так. Александр Александрович с детства терпеть не мог учения. Писал он (мой брат видел оригиналы его телеграмм к невесте в Копенгаген) до невероятности безграмотно. По-французски писал он так: «Ecri a oncle a propos parade... les nouvelles sont mauvaises», а по-русски: «Сидим за субботиним столом и едим батвению» – и так далее в таком роде.

Говорят, к концу жизни его характер исправился: но в 1870 году и гораздо позднее он являлся настоящим потомком Павла I. Я знал в Петербурге офицера, шведа по происхождению (родом из Финляндии), которого командировали в Соединенные Штаты заказать ружья для русской армии. Во время аудиенции цесаревич дал полный простор своему характеру и стал грубо говорить с офицером. Тот, вероятно, ответил с достоинством. Тогда великий князь пришел в настоящее бешенство и обругал офицера скверными словами. Офицер принадлежал к тому типу вполне верноподданных людей, держащихся, однако, с достоинством, какой часто встречается среди шведских дворян в России. Он немедленно ушел и послал цесаревичу письмо, в котором требовал, чтобы Александр

Александрович извинился. Офицер прибавлял, что если через двадцать четыре часа извинения не будет, то застрелится. Это был род японской дуэли. Александр Александрович не извинился, и офицер сдержал свое слово. Я видел его у моего близкого друга в тот день, когда он ежеминутно ждал, что прибудет извинение. На другой день его не было в живых. Александр II очень рассердился на сына и приказал ему идти за гробом офицера вплоть до могилы; но даже и этот страшный урок не излечил молодого человека от романовской надменности и запальчивости.

Версия #1

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX создал 29 апреля 2025 05:25:47

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX обновил 29 апреля 2025 05:32:28